

ДЖКНННННННННН

ГВУХУХУХУХУХУХУХ



CoRpus

АУННААААААААААА

Дженнифер Сэйт

Ариадна

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Сэйнт Д.

Ариадна / Д. Сэйнт — «Издательство АСТ», 2021

ISBN 978-5-17-139111-9

Об Ариадне известно, что она помогла Тесею пройти Лабиринт и победить получеловека-полубыка Минотавра. Но эта история – только начало романа Дженнифер Сэйнт. Ариадна, вынужденная предать и свою страну, и свою семью, сама становится жертвой предательства. Однако на помощь ей приходят боги, точнее, вечно юный бог Дионис. Вот он, счастливый поворот судьбы. Но долго ли продлится это счастье, не ждет ли Ариадну новое предательство? В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-139111-9

© Сэйнт Д., 2021

© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Пролог	6
Часть первая	7
Глава 1	7
Глава 2	14
Глава 3	20
Глава 4	27
Глава 5	32
Глава 6	36
Глава 7	40
Глава 8	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Дженнифер Сэйт Ариадна

Jennifer Saint
Ariadne

© Jennifer Saint, 2021

© Л. Тронина, перевод на русский язык, 2023

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство Аст», 2023

Издательство CORPUS ®

* * *

Теду и Джозефу.

Надеюсь, вы понимаете, что ваши мечты непременно сбудутся.

*Скоро ты в гавань войдешь родного Кекропова края,
И, среди внемлющих толп на возвышение встав,
Будешь рассказывать им о быке-человеке сраженном
И о пробитых в скале путаных ходах дворца¹...
Овидий, Героиды, Письмо десятое. Ариадна – Тесею*

¹ Перевод с латинского С. Ошерова.

Пролог

Позвольте рассказать вам об одном праведнике.

Праведник этот, царь Крита Минос, пошел войной на Афины. Хотел покарать город за смерть своего сына Андрогейя. Сей могучий атлет одержал победу на Панафинейских играх, вот только после в пустынных пригородных холмах был растерзан взбесившимся быком. Потеряв сына-триумфатора, всю вину Минос возложил на афинян – не уберегли, дескать, юношу от свирепого зверя – и возжаждал наказать их, искупав в крови.

Но по пути, прежде чем обрушить свой гнев на Афины, Минос решил уничтожить другое царство – Мегару. Нис, мегарский царь, славился своей непобедимостью, но, хоть и легендарный, все равно не годился в подметки могучему Миносу, срезавшему прядь алых волос, от которой и зависело бессмертие царя. Лишившись кроваво-красного завитка, несчастный был повержен моим торжествующим отцом.

Откуда же он узнал, что нужно отстричь этот самый завиток? Царская дочь, красавица Скилла, весело рассказывал мне Минос, влюбилась в него без памяти и без надежды, и однажды, сладким шепотом обещая моему отцу, подставившему чуткое ухо, что с радостью променяет дом и родню на его любовь, проговорила заодно, в чем заключена погибель ее отца.

Разумеется, такое отсутствие дочерней преданности внушило Миносу справедливое отвращение, и, едва царство пало под ударами его окровавленного топора, отец мой привязал безумно влюбленную девушку к кораблю и благочестиво поволок в водяную могилу, а она громко кричала, оплакивая свою нежную веру в любовь.

Она предала и своего отца, и царство, говорил он мне, еще сияя и упиваясь победой, когда вернулся из поверженных Афин. А зачем, скажите на милость, моему отцу Миносу, царю Крита, вероломная дочь?

Часть первая

Глава 1

Я Ариадна, критская царевна, однако история эта увела нас далеко от скалистых берегов моей родины. Отцу нравилось рассказывать мне, как благодаря своей образцовой добродетели он победил Мегару, подчинил Афины и всем показал блестящий пример безупречного правосудия.

По легенде, тонущая Скилла превращена была в морскую птицу. Только жестокой участи отнюдь не избежала, ведь за ней тут же пустился в погоню орел с алым пером, движимый вечной жадной мести, и нет этой погоне конца. Легенда казалась мне вполне правдоподобной, богам ведь доставляет такое наслаждение созерцать долгие муки.

Но я, размышляя о Скилле, представляла отнюдь не птицу, а глупую и самую что ни на есть земную девчонку, задыхавшуюся в пене волн, бурливших за кормой отцовского корабля. Видела, что не только железные цепи, которыми сковал ее Минос, затягивают Скиллу в бушующие воды, но и бремя невыносимой правды: все родное и знакомое принесла она в жертву любви, такой же призрачной и мимолетной, как радуга, мерцавшая в облаках брызг, когда отец мой горделиво шел на всех парусах под золотистым солнцем.

Знаю, Скиллой и Нисом кровавые труды отца не завершились. За мир он потребовал с Афин страшную плату. Всемогущий Зевс, беспощадный правитель богов, благоволил Миносу, потому что любил силу в смертных, и оказал ему милость, наслав на Афины страшный мор, шквалом болезней, мук, смертей и горя пронесшийся по городу. Вопль матерей, должно быть, стоял повсюду, ведь дети чахли и гибли у них на глазах, а воины полегли на полях сражений, и великий город, узнавший вдруг, что, подобно всем городам, крепок был лишь слабой человеческой плотью, вяз уже в громоздившихся друг на друга телах собственных жителей, ставших жертвами принесенной Миносом чумы. Афиняне уступили его требованиям – ничего другого им не оставалось.

Однако не власть и богатства нужны были Миносу. А дань – семь афинских юношей и семь девушек, которых каждый год доставляли морем на Крит, чтобы хоть ненадолго насытить чудовище, грозившее опозорить и сокрушить мою семью, но вместо этого возвысившее и прославившее нас. От рева этого существа, почуявшего приближение того единственного дня в году, когда его кормили, пол в нашем дворце гудел и сотрясался, хоть оно было упрятано глубоко под землю, в сердце сумрачного лабиринта, до того поражавшего воображение, что вошедший не мог уже выйти обратно на белый свет.

Лабиринта, ключом от которого владела только я.

Лабиринта, заключившего в себе величайшее унижение Миноса и одновременно – величайшую драгоценность.

Моего брата Минотавра.

В детстве я как замороженная без конца бродила по углам и закоулкам кносского дворца. Кружила по бесчисленным комнатам, в которых ничего не стоило заблудиться, плутала змеистыми проходами, водя ладонью по гладким красным стенам. Пальцы нащупывали рельефный лабрис, обоюдоострый топор, высеченный на каждом камне. Уже потом я узнала, что для Миноса лабрис был символом могущества Зевса, вызывавшего громы и молнии, то есть свидетельством неодолимого превосходства. А мне, бежавшей по лабиринтам родного дома, этот топор напоминал бабочку. И именно бабочку я представляла себе, выбираясь из полутемного кокона дворцовых покоев на великолепный внутренний двор, просторный, залитый солнцем.

На огромном выглаженном до блеска кругу, располагавшемся посередине, я провела счастливейшие минуты юности. Вращаясь в головокружительной пляске, ткала невидимый ковер, легкими прыжками пересекая танцевальную площадку – диво дивное, выточенное из дерева бесподобное творение прославленного мастера Дедала, хоть и не самое известное, конечно.

Я наблюдала, как он сооружал эту площадку – вертелась рядом, нетерпеливая девчонка, дожидаться не могла, когда же он закончит, не понимая, что вижу за работой изобретателя, который во всей Греции славится. А может, и в других, далеких землях, но о мире за стенами нашего дворца я почти ничего не знала. С тех пор больше десятка лет прошло, однако мне всегда вспоминается именно тот Дедал – молодой, полный сил и творческого пыла. Я наблюдала за его работой, а он рассказывал мне, как, путешествуя, обучался своему мастерству, пока наконец не привлек выдающимися умениями внимание моего отца, пообещавшего щедро наградить Дедала, если тот останется. Казалось, он везде побывал – описывал знойные пески пустынь Египта, Иллирию и Нубию, непредставимо далекие, а я ловила каждое слово. Я видела отплывающие от критского берега корабли – под руководством умелого Дедала возводились их мачты, а на мачтах крепились паруса, – но только воображать могла, каково же пересекать моря на таком корабле, когда под ногой скрипит дощатая палуба и волны с шипением разбиваются о борта.

Наш дворец был полон творений Дедала. Изваянные им статуи, казалось, вот-вот оживут – их даже к стенам приковывали длинными цепями, чтобы не вздумали уйти. Изготовленные им изящные ожерелья из тонких золотых цепочек блестели на шее и запястьях Пасифаи. Однажды, заметив мой завистливый взгляд, Дедал и мне преподнес маленькую золотую подвеску – две пчелы на кусочке сот. Она сверкала на солнце, такая яркая, лощеная, что казалось – сейчас растает от жары, истечет медовыми капельками.

– Это тебе, Ариадна.

Он всегда говорил со мной серьезно, и мне это нравилось.

С ним я не чувствовала себя надоедливым ребенком, девчонкой, которая никогда не сможет возглавить флот или завоевать царство, то есть для отца своего Миноса почти бесполезна и потому неинтересна ему. Если Дедал и шутил надо мной, я этого не замечала – всегда считала, что мы общаемся на равных.

Я изумленно приняла подвеску, повертела в пальцах, дивясь ее красоте. И спросила:

– А почему пчелы?

Он развел руками, обратив ладони к небу, пожал плечами и улыбнулся.

– А почему бы и нет? Пчелы всеми богами любимы. Они выкармливали младенца Зевса медом в укромной пещере, пока он не набрал достаточно сил, чтобы свергнуть могучих титанов. Дионис подслащивает пчелиным медом свое вино, оттого оно так соблазнительно. Говорят, даже ужасного Цербера можно приручить, если накормить медовым пирогом! С таким украшением ты всякую волю смягчишь и всякого к себе расположишь.

Я не спросила, чью волю мне, возможно, понадобится смягчить, – знала и так. Все мы на Крите были заложниками сурового Миносова суда. Моего отца и гигантский пчелиный рой не поколебал бы, а все же этот очаровательный подарок я с тех пор носила всегда. Подвеска горделиво поблескивала у меня на шее и на празднике в честь женитьбы Дедала. Мой отец устроил грандиозный пир – очень был доволен, что Дедал заключил союз с дочерью Крита. Теперь узы, связывавшие мастера с нашим островом, стали еще прочней, и Минос мог похваляться своим собственным великим изобретателем. Жена Дедала умерла во время родов – они и года вместе не прожили, – но мастер нашел утешение в новорожденном сыне Икаре и умилял меня, гуляя с младенцем на руках и показывая ему, ничего еще не смыслившему, цветы, птиц и разные диковины нашего дворца. Моя младшая сестренка Федра, только выучившись ходить, в восторге ковыляла за ними, и когда мне надоедало уводить ее подальше от всяких

опасностей, встречавшихся на каждом шагу, я оставляла Дедала с ними обоими и втихомолку возвращалась на свою просторную площадку для танцев.

В первое время и мать танцевала со мной – она-то меня и научила. Не просто показала порядок шагов, скорее передала мне умение создавать из беспорядочных, полубезумных движений текучие, волнообразные фигуры. Я наблюдала, как мать отдается музыке, необъяснимым способом преобразуя ее в некое изящное неистовство, и делала так же. Она превращала нашу пляску в игру – выкрикивала названия созвездий, а мне нужно было, перемещаясь по площадке, очертить эти небесные фигуры, которые мать выписывала и в рассказах тоже, не только в танце. “Орион!” – крикнет она например, и я перепрыгиваю, как безумная, с места на место, представляя огоньки в ночном небе – изображение злосчастливого охотника.

– Девственная богиня Артемида яростно оберегала свою невинность, объяснила Пасифая. – Но благоволила Ориону – смертному, с которым охотилась, а он был в этом деле почти так же искусен, как она сама.

То есть находился в опасном для человека положении. Боги могут восхищаться искусностью смертного – охотника, ткача, музыканта, – но если тот возгордится, заметят сразу, и горе несчастному, чьи умения близки к божественным. Ни от кого бессмертный не потерпит хоть какого-то превосходства над собой.

– Движимый стремлением сравняться с обладавшей невероятным мастерством Артемидой, Орион захотел во что бы то ни стало поразить ее, – продолжила мать.

Она глянула на Федру и Икара, игравших у края площадки. В последнее время они были неразлучны, Федра упивалась старшинством: наконец нашелся кто-то помладше и можно им повелевать. Убедившись, что дети увлечены игрой и нас не слушают, Пасифая принялась рассказывать дальше.

– Может, надеялся, убив достаточно живых тварей, заслужить ее восхищение и заставить тем самым нарушить обет безбрачия. И они вдвоем отправились сюда, на Крит, чтобы устроить великую охоту. День за днем Артемида с Орионом вырезали здешних зверей, и доказательством их мастерства служили горы мертвых тел. Но пропитав землю кровью, они пробудили от мирного сна Гею, прародительницу всего сущего, и та ужаснулась побоищу, которое одержимый Орион учинил вместе со своей обожаемой богиней. Гея испугалась, что он и впрямь уничтожит все живое, как и говорил, в опьяненном исступлении похваляясь перед Артемидой. Поэтому призвала из тайных подземных обиталищ одно свое создание – Гигантского скорпиона – и натравила на хвастуна Ориона. Такого существа свет еще не видывал. Панцирь его блестел, словно вырезанный из гладкого обсидиана. Огромные клешни были размером с человека, а ужасающий изогнутый хвост вздымался до безоблачных небес, затмевая Гелиосов свет и отбрасывая жуткую тень.

Я содрогалась, слушая описание легендарного чудовища, и зажималась от страха, представляя, как оно вырастает передо мной, невообразимо жуткое и свирепое.

– Но Орион не испугался, – продолжила Пасифая. – Или виду не подал. Может, думал, что возлюбленная Артемида спасет его от этой твари, а может, считал, что и без нее способен победить чудовище, посланное самой Геей. Как бы там ни было, Орион не справился, и Артемида не вмешалась, не вытащила его из могучих клешней скорпиона.

Тут мать прервалась, и ее молчание изобразило жалкие попытки Ориона сражаться ярче, чем могли бы слова. Затем она снова подхватила рассказ, но прежде я увидела, как Орион испустил дух, как обнажилась наконец его человеческая слабость, когда он сдался, обессиленный – уж очень долго, пребывая в смертном теле, пробовал угнаться за богами.

– Артемида, горевавшая по своему спутнику, собрала его останки, разбросанные по всему Криту, и поместила на небо – пусть Орион светит во мраке, чтобы она глядела на него каждую ночь, отправляясь на охоту с серебряным луком в одиночестве, и превосходство свое сохранившая непререкаемым, и целомудрие.

Таких историй было много. Ночные небеса, казалось, усеяны смертными, повстречавшимися с богами и теперь являвшимися земле ярким примером того, на что способны бессмертные.

Тогда мать, помню, отдавалась повествованию, как и танцу, бурно и самозабвенно, не зная еще, что эти невинные развлечения сочтут потом доказательством ее неудержимой склонности к излишествам. В то время никто и не думал говорить, будто она не может зваться женщиной, или обвинять ее в распутстве и каких-то неестественных склонностях, и мать танцевала со мной без оглядки, пока Федра с Икаром играли, увлекаясь все новыми забавами, все новыми мирами, которые сами же и придумывали. Одного лишь судьи нам стоило бояться – хладнокровного Миноса с его бесстрашной и последовательной расчетливостью. И мы, мать и дочь, танцевали вместе, отгоняя страх.

Девушкой я танцевала уже одна. На блестящем деревянном полу выстукивала ногами ритм и растворялась в нем, уходила с головой в кружение танца. И даже без музыки мне удавалось заглушить отдаленный грохот, от которого стонала земля под нашими ногами, топот огромных копыт в глубине, в сердцевине сооружения, которое и вправду упрочило славу Дедала и сделало его пленником высившейся поодаль башни, что попадалась мне на глаза, когда я обращала лицо к солнцу. Простирала руки к его золотистому теплу, тянулась к безмятежному небу, в танце забывая об ужасе, обитавшем под нами.

И здесь мы подходим к истории, которую Минос не очень-то любил рассказывать. О временах, когда он только стал наследником престола – вместе с двумя братьями, своими соперниками, и отчаянно хотел доказать, чего стоит. Минос попросил Посейдона послать ему из моря великолепного быка и твердо поклялся принести животное в жертву, чтобы оказать великий почет морскому богу и таким образом заполучить и его благосклонность, и критский трон разом.

Посейдон послал быка, которого Минос предъявил как неотразимое подтверждение своего права царствовать на Крите, посланное свыше, но Критский бык был так прекрасен, что мой отец поверил, будто сможет обмануть бога, принести ему в жертву другое животное, похуже, а это оставить себе. И Посейдон, оскорбленный и разгневанный таким коварством и дерзостью, замыслил месть.

Моя мать Пасифая – дочь Гелиоса, великого бога солнца. Но не обжигающий блеск исходил от нее, как от деда, а легкое мерцание, золотое свечение. Я помню, как мягко лучились ее удивительные глаза с бронзовым оттенком, как согревали летним теплом ее объятия, как вспыхивал и разливался солнечным светом ее смех. В дни моего детства, когда она смотрела на меня, а не сквозь. Когда несла свое сияние миру, не превратившись пока в мутное стекло, через которое еще проходит искаженный свет, но уже не льется драгоценным ярким потоком. Прежде чем ей пришлось поплатиться за мужнин обман.

Просоленный, облепленный ракушками, восстал Посейдон из океанской пучины, объятый гневом и громадным облаком брызг. Но серебристую, изворотливую месть нацелил не прямо на Миноса, пытавшегося обмануть его и оскорбить, а обратил на мою мать, дочь солнца и царицу Крита – довел ее до сумасшествия страстью к быку. Животная похоть распалила Пасифаю, а необузданное желание сделало хитрой и коварной, и она уговорила мастера Дедала изготовить деревянную корову, до того неотличимую от настоящей, что одуроченный бык взобрался на нее – а заодно и на безумную царицу, спрятавшуюся внутри.

Эта невообразимая связь стала на Крите предметом непристойных сплетен – хоть и запретные, они достигали моих ушей, вились вокруг злобными, ехидными усиками. Всем будто подарок преподнесли: злопамятным аристократам, веселым купцам, угрюмым рабам, девушкам, которых раздирали противоречия – какая ужасная и притягательная мерзость! – юношам, замороженным извращенной дерзостью царицыного каприза, – бормотание, ропот, осуждающий шепоток и глумливые смешки носились повсюду и даже долетали в каждый уголок дворца. Посейдон вроде бы в цель не попал, однако поразил ее с убийственной точностью. Не тронув

Миноса, но осралив его супругу столь нелепым способом, он унизил отца как мужчину, которому жена, обезумевшая от неестественных желаний, изменила со скотиной.

Красавица Пасифая, происходившая от бога, была для Миноса не просто женой, а бесценным призом. Именно изяществом, утонченностью, очарованием моей матери и гордился отец, поэтому разъяренный Посейдон, наверное, получил особое удовольствие, низведя ее. Боги с наслаждением разбивают в пух и прах любой предмет нашей гордости, то самое, что выделяет нас среди прочих смертных и возвышает над ними. Размышляя об этом, однажды я расчесывала шелковистые, отливавшие золотом волосы младшей сестренки – подарок от сияющей матери, и заплакала, с ужасом разглядывая прелестные завитки, ведь каждый из них мог стать приманкой для небесных колоссов, шагающих по облакам, способных отобрать нашу крошечную удачу и растереть в пыль своими бессмертными пальцами.

Моя служанка Эйрена увидела, что я плачу, уткнувшись в волосы Федры.

– Ариадна... – проворковала она.

Наверное, ей было жаль меня, моей детской чистоты, нарушенной столь нелепым и чудовищным образом.

– Что такое?

Она, конечно, думала, что я оплакиваю материнский позор, но, как всякий ребенок, я поглощена была собой и именно за себя тревожилась на этот раз.

– А что если боги, – отвечала я, глотая слезы, – что если они лишат меня волос и я останусь лысой уродиной?

Может, Эйрена сдержала улыбку, но если и так, то виду, что смеется надо мной, не подала. А вместо этого, легонько меня отодвинув, сама взяла гребень и стала расчесывать Федру.

– С чего бы?

– Вдруг отец опять их рассердит? – воскликнула я. – И они лишат меня волос, чтобы он стыдился потом безобразной дочери.

Федра наморщила нас и решительно заявила:

– Не может царевна быть лысой.

И правда, кому нужна такая? Минос любил говорить, как однажды выдаст меня замуж и этот блестящий брачный союз покроет Крит славой. Зря, зря он так хвастал! Осознание подползало ко мне, и кровь стыла в жилах. Как мне защититься от его преступлений? Если оскорбленные отцом боги решили сразить его жену, так почему не дочь?

Я почувствовала перемену в Эйрене, присевшей рядом. Мои слова ее удивили. Она-то наверняка думала, что царевна убивается по пустякам, что это просто облачко набежало и можно смахнуть его как легкий туман, тающий в розовых ладонях зари. Я и не знала, что натолкнулась случайно на правду женского бытия: сколь безупречную жизнь ни веди, мужские страсти и алчность легко тебя погубят, и тут ничего не поделаешь.

Этого Эйрена не могла отрицать. И рассказала нам одну историю. О Персее, благородном герое, сыне Зевса, явившегося в виде золотого дождя к одинокой и прекрасной Данае, заточенной в бронзовую башню без крыши, откуда только небо и видно было. Сын вырос достойным своего блистательного отца и, как и полагается герою, победил страшное чудовище – Медузу Горгону, избавив мир от ее злодейств. Я уже знала, что Персей отрубил ей голову, уже слушала с трепетом, как змеи, выросшие вместо волос на ее безобразной голове, извивались, шипели и брызгали ядом, когда герой взмахнул чудесным мечом. Известие об этом подвиге только недавно пришло к нам во дворец, и все мы удивлялись отваге Персея и содрогались, представляя его щит, на котором висела теперь голова Горгоны, а всякий, кто смотрел на него, тут же обращался в камень.

Но сегодня Эйрена не стала говорить о Персее. Вместо этого рассказала, как Медузе достался венец из змей и способность все превращать в камень одним только взглядом. Такую

историю я в последнее время и ожидала услышать. Поскольку не жила уже в мире отважных героев, слишком скоро узнала о женском страдании – неназванное, пробивалось оно в легендах об их подвигах.

– Медуза была красавицей, – начала Эйрена. Она уже отложила гребень, а Федра, забравшись к ней колени, приготовилась слушать. Обычно сестра не могла усидеть на месте, но сказаниям внимала как зачарованная. – Моя мать видела ее однажды, на большом празднике в честь Афины, видела издалека, но все равно узнала – по великолепным волосам. Они стекали с ее плеч сияющей рекой чистого золота, поэтому юную деву ни с кем нельзя было спутать. А повзрослев, Медуза превратилась в восхитительную молодую женщину, но поклялась самой себе хранить невинность и лишь смеялась над женихами, требовавшими ее руки.

Эйрена помолчала, будто бы тщательно взвешивая слова. И даже наверняка взвешивая, ведь историю эту юным царевнам рассказывать не следовало. Однако Эйрена рассказала, и ей одной было ведомо почему.

– Но однажды в святилище Афины перед ней предстал жених, от которого не убежишь и насмеяться над ним не станешь. Могущественный Посейдон, заставивший твою мать пылать страстью к быку, возжелал прекрасную деву и ни криков, ни мольб ее слушать не стал и даже перед осквернением священного храма не остановился.

Эйрена медленно и аккуратно вздохнула. Я перестала всхлипывать и слушала внимательно. Я ведь знала лишь о Медузе-чудовище. И не думала, что она стала такой не сразу. В легендах о Персее Медузе иметь свою собственную историю не позволялось.

– Афина пришла в ярость, – продолжала Эйрена. – Она, богиня-девственница, не могла стерпеть столь возмутительного преступления в собственном храме. И должна была наказать бесстыдницу, позволившую Посейдону одолеть себя и оскорбить взор богини гнусным своим падением.

Итак, за поступок Посейдона должна была расплатиться Медуза. Не увидев тут сначала никакого смысла, я, склонив голову, взглянула на это под другим углом – как смотрят боги. И тогда картина сложилась – ужасная, с точки зрения смертного, и красивая, как паутина, так пугающая, наверное, муху.

– Афина лишила Медузу волос и увенчала голову девушки живыми змеями. Забрала ее красоту, так обезобразив лицо, что всякий взглянувший на Медузу обращался в камень. И та бесчинствовала, оставляя после себя только статуи, на лицах которых застыли ужас и отвращение. Когда-то мужчины желали Медузу неистово, а теперь так же неистово боялись и бежали от нее со всех ног. Она сто раз успела отомстить, прежде чем Персей отсек ей голову.

Я слова не могла вымолвить от ужаса. А потом отважилась спросить:

– Почему ты рассказала нам эту историю, Эйрена, а не те, что обычно?

Она погладила меня по голове, но смотрела при этом, не отрываясь, куда-то вдаль. А потом проговорила ровным голосом, донесшимся из той самой дали:

– Решила, что пора вам послушать и о другом.

Долго еще я носила в себе эту историю, крутила так и сяк, словно косточку спелого персика – такая вдруг ошеломляющая жесткость в самой сердцевине. Я заметила, конечно, сходство в судьбах Медузы и Пасифаи. Обе расплачивались за чужое преступление. Но Пасифая будто умалялась каждый день, хоть живот ее округлялся и растягивался, превращаясь в нечто бесформенное. Она не поднимала глаз, не открывала рта. Совсем не как выставлявшая напоказ муку Медуза, на голове которой яростно извивались, разевая пасть, змеи, а сверкавшая в глазах ненависть обращала в камень. Моя мать, напротив, заперлась в каком-то недоступном уголке своего существа, и осталась от нее одна лишь тонкая, полупрозрачная оболочка – будто раковина на песке, истертая почти в ничто сокрушительными волнами.

Стану Медузой, если уж до этого дойдет, – так я решила. Если однажды боги доберутся до меня и заставят отвечать за чужие проступки, если накажут за содеянное мужчиной, я не спрячусь внутри себя, как Пасифая. А надену корону из змей, и пусть от меня прячутся.

Глава 2

Мне было десять, когда родился мой устрашающий брат, и случилось это вскоре после той истории, рассказанной Эйреной. Я и раньше ухаживала за матерью после родов – когда появились на свет мой брат Девкалион и сестра Федра – и думала, что знаю уже, к чему готовиться. Но с Астерием все вышло иначе. Мать страдала несоизмеримо глубже, страдала всем существом. В ее жилах текла божественная кровь Гелиоса и не давала ей умереть в муках, но от боли не защищала – боли, которую я страшилась и вообразить, но глубокой ночью мои блуждающие мысли невольно возвращались к ней. Царапались копыта и рожки, пробивавшиеся на уродливой голове, покрытой скользкой шерстью, суматошно молотили конечности – я содрогалась, представляя в подробностях, как он прорывался на волю из утробы матери – зыбкого солнечного луча. Отлитый в горниле страдания, он сокрушил нежную Пасифаю, и моя мать, которая и так уже была далеко, а теперь прошла через огонь и муки, больше ко мне не вернулась.

Я думала, что он внушит мне лишь ненависть и страх – этот зверь, само существование которого нарушало все законы. Пробираясь в покои, откуда вышли, пошатываясь, бледные трясущиеся повитухи, я вдыхала солоноватый запах разделанного мяса и еле ноги переставляла – ужас приковывал их к полу.

Но мать сидела, опершись на подоконник, как и с другими своими новорожденными, все у того же окна, облитая уже знакомым мне усталым сиянием. И хоть глаза ее теперь были стеклянны и пусты, а лицо – истерзано, она баюкала ворох покрывал и прижимала к груди, нежно касаясь носом головки младенца. Он засопел, икнул и, открыв черный глаз, пристально посмотрел на меня, осторожно подхлотившую ближе. Я заметила, что глаз этот окаймляют длинные черные ресницы. У материнской груди трепыхался пухлый кулачок с безупречными розовыми ноготками на всех пяти пальцах. А под покрывалом, у лодыжек, нежно-розовые ножки младенца переходили в твердокаменные копыта, сверху заросшие темной шерстью, но этого я еще не видела.

Младенец этот был чудовищем, а мать – выпотрошенной оболочкой, но я-то оставалась ребенком и потянулась к слабому, затеплившемуся огоньку нежности. Неуверенно приблизилась и молча попросила разрешения – вытянув палец, всмотрелась в материнское лицо: одобрит ли? Мать кивнула.

Я сделала еще шаг. Мать вздохнула, шевельнулась, сменила положение. Тяжелый воздух вяз в горле – не сглотнуть. Круглый черный глаз не отпускал меня по-прежнему, глядел неумолимо.

Не отводя взгляда, я вытянула руку, еще совсем чуть-чуть, и наконец преодолела зияющую меж нами пропасть. Мой палец коснулся его лба, покрытого скользкой шерстью, пониже того места, где у висков бугрились каменные выступы рогов. Я осторожно погладила мягкую переносицу. Рот его едва заметно приоткрылся и испустил легкий вздох, обдавший теплом мое лицо. Я посмотрела на мать, но взгляд ее, хоть и обращенный к нам, был пуст.

Я снова поглядела на младенца. И он пристально глядел на меня.

Я чуть не подпрыгнула, когда мать заговорила. Скрипучим голосом незнакомки, не своим.

– Астерий, – сказала она. – Это значит: звезда.

Астерий. Далекий свет в бесконечной тьме. А если приблизиться – бушующее пламя. Проводник в бессмертие для моей семьи. Пример божественного отмщения нам всем. Тогда я не знала еще, чем он станет. Но мать держала его на руках, кормила грудью, дала ему имя, и теперь он знал нас обеих. Он не был еще Минотавром. Был просто младенцем. Моим братом.

Федра о нем и слышать не хотела. Затыкала уши, стоило мне начать рассказывать, как быстро он растет, еще родиться не успел, а уже пробует ходить – копыта скользят по полу, нелепая голова, слишком большая и тяжелая, перевешивает, тянет его вперед, он опрокидывается снова и снова, но упрям и не отступает. И уж точно не хотела она знать, чем мы его кормим, ведь Астерий отвернулся от материнской груди, перестал сосать молоко уже через несколько недель, и теперь Пасифая, по-прежнему мрачная и молчаливая, раскладывала перед ним скользкое окровавленное мясо, которое он поглощал с горячей благодарностью, а после терся гладкой головой и об нее, и об меня. Я избавила Федру от этих подробностей.

Девкалион, притворившись, что это диковинное и нелепое существо, появившееся в нашей семье, совсем его не пугает и даже вызывает любопытство, пожелал увидеть Астерия, но хоть и выдвинул челюсть вперед, подражая мужественной повадке отца, и даже проронил несколько прохладных слов, выразив интерес, на самом-то деле трясся от страха, я видела.

А Минос к нему и близко не подходил. Что он думал, я не знала.

Словом, ухаживать за младенцем Пасифае помогала я одна. Не позволяя себе забредать мысленно в будущее и задаваться вопросом: к чему мы его готовим? Я надеялась – и Пасифая, скорее всего, тоже – взлелеять в нем человека. Хотя она-то, может, так далеко и не заглядывала, а просто поступала, как велит матери природа, – не знаю. Я твердо решила сосредоточиться на насущных делах: как научить его ходить на двух ногах, вести себя прилично за едой, спокойно отзываться на чужие слова и прикосновения. Для чего? Не знаю, о чем я думала. Представляла, что удастся воспитать его хотя бы отчасти и он будет, появляясь при дворе, принужденно расшаркиваться и, склоняя огромную бычью голову, учтиво приветствовать собравшуюся знать? Всеми уважаемый и чтимый критский царевич? Не так я была глупа, чтобы об этом мечтать. Может, я вообразила, что наши старания впечатлят Посейдона и он, восхитившись собственным божественным творением, потребует его себе.

И может, так оно и случилось. Вот только я не учла, что боги ценят на самом деле. Не нужен был Посейдону неуклюжий человекобык, шатающийся под достойной людской личиной. Свирепая дикость, звериный рык, острые зубы и страх – вот что нравилось богам. Страх, всегда страх, его обнаженное лезвие за дымом, курящимся над алтарями, его резкие нотки в невнятных молитвах и хвалах, которые мы посылаем небесам, его насыщенный, первобытный вкус, когда мы заносим нож над жертвой.

Наш страх. Через него боги обретали величие. И мой брат к концу первого года жизни быстро превращался в воплощение ужаса. Рабы не приближались к его жилищу даже под угрозой смерти. Он так пронзительно визжал, когда приносили еду, что по спине моей скребла ледяными когтями жуть. И стлыли внутренности от рыка, который он издавал, увидев куски сырого окровавленного мяса, уже ему не нужные. Теперь Пасифая, отрешенная и бестрепетная, подходила и, не дрогнув, бросала сыну крыс, хоть те извивались и пищали в ее твердой руке. А тот с наслаждением наблюдал, как крысы эти, обезумев от страха, мечутся и бегают кругами по стойлу, где мы теперь его держали, скрывался в тени, готовясь наброситься и разорвать на части живое тельце, попавшее к нему в логово.

Он вырос гораздо быстрее человеческого детеныша, и, когда охотился на своих крыс, я замечала, как по туловищу его перекачиваются мускулы. Бедра его розовели, поблескивая под темной шерстью, грудь вылепилась, как у мраморных статуй, украшавших внутренний двор царского дворца, мускулы на плечах поигрывали, крепкие кулаки сжимались, и все это венчала тяжелая косматая голова с рогами и измазанная кровью морда.

Я боялась его, ведь лишь глупец не боялся бы. Или безумец вроде Пасифаи. Но не только ужас внушал он мне. Я, конечно, с омерзением, гадливостью наблюдала, как он фыркает, пытит и бьет копытом, предвкушая корчившееся от ужаса угощение, но в глубине саднила жалость, такая мучительная, что у меня порой дыхание перехватывало и слезы наворачивались от неизъяснимой боли, когда он визжал, требуя новой крови, зрелища новых страданий. Он

не виноват, не по своей воле стал таким, думала я с яростью и жалела несчастное, безумное существо с бычьими мозгами, втиснутыми кое-как в не то тело. Так жестоко и унижительно пошутил Посейдон, вознамерившись опозорить человека, который и взглянуть не соизволил на это создание. Астерий не должен был появиться на свет, но появился, и заботиться о его благополучии выпало нам с Пасифаей. И хоть ужас мой становился все сильнее, он так неразрывно свивался с жалостью – а в глубине шевелился, медленно закипая, гнев, – что я не решалась покончить со всем этим, пока могла. Размозжить его тупую голову камнем, когда он ест, воткнуть копье в бок, в незащищенную человеческую плоть даже у девчонки вроде меня наверняка хватило бы сил, пока он еще не вырос. Но я не могла заставить себя, а когда со временем вполне осознала, кто он такой и как его задумал использовать Минос, осознавший это тоже, мне с Астерием было уже не справиться.

Астерий рос, сдерживать его становилось все трудней. Месяц шел за месяцем, и теперь лишь Пасифая осмеливалась заходить в конюшни, двери которых укрепили тяжелыми железными засовами. Я оставалась снаружи и беспокойно слонялась вокруг, не зная, куда деваться. С тех пор как он родился, я больше не танцевала. В яме нутра шевелился клубок тревоги, и я, хоть двигалась беспрестанно, не могла отыскать внутри себя свободного места. Я ждала и уверяла себя, что и не понимаю, чего жду. А на самом-то деле понимала.

Уверена, что Эйрена и близко бы не подошла к тем конюшням по собственной воле. Об Астерии она со мной не говорила, а с тех пор, как я стала ближайшей помощницей матери в заботах о проклятом звере, и вовсе говорила со мной мало. Расчесывала мне волосы, застегивала одежду, но историй больше не рассказывала. Я никогда не узнаю, что заставило ее возвращаться в свою комнату именно этой дорогой в тот вечер – тот самый, когда он, нагнув голову, бросился на запертые двери, как делал уже много раз, но прежде доски не поддавались. Он таранил их устрашающими рогами, и все скорей спешили мимо, съжившись от страха, однако мы думали, что Астерий заперт надежно. Я запрещала себе представлять, как он все же выломал двери и как бежала от него Эйрена, хоть и была обречена. С застывшим лицом и застрявшими в горле слезами я подбирала лоскутья одежды, порхавшие по двору в порыве беспокойного ветра, который поднялся, когда мы подошли к разломанным дверям конюшни, уже поспешно загороженным конюхами – именно им не посчастливилось в то раннее осеннее утро застать картину кровавой расправы.

Федра уткнулась в мой подол, я погладила ее по голове и пробормотала, еле шевеля онемевшими губами:

– Не смотри.

Помню, какой злостью полыхали глаза, в которые мы посмотрели обернувшись, – глаза собравшихся слуг, ставших свидетелями произошедшего. Помню, как перед лицом молчаливых обвинителей, стоявших полукругом, неподвижность сковала меня, а за спиной раздавалось однообразное – бум, бум, бум! – это рога моего кровожадного брата бились о железные листы, еле державшие двери.

Сколько длилась эта вечность, не знаю, но внезапно оглушительную тишину нарушило появление Миноса. Шелестя шелковыми одеждами, он прошествовал сквозь толпу собравшихся, и те подались в стороны, как стайка рыб перед акулой, а за его спиной бросились врассыпную.

Мать рядом со мной вся сжалась.

Однако удара не последовало, как и резких слов или нотаций. Отважившись быстро глянуть вверх, я увидела, что лицо отца безмятежно и тучи на горизонте не сгущаются. А когда подхваченный прохладным ветерком клочок одежды закружил у его ног, на губах Миноса заиграла улыбка, стала расплзаться по лицу.

– Жена! – воскликнул он.

И я почувствовала, как содрогнулась мать, хоть глаза ее и оставались пустыми стеклами.

Он размашисто повел рукой, заговорил восторженно и ласково.

– День за днем я слышу рассказы о том, как силен наш сын, как растет его сила. Он прекрасная особь, хоть и молод еще, и молва о мощи его расходится далеко, повсюду вселяя в сердца трепет и благоговение.

Он покивал одобрительно, рассматривая окровавленные лоскутки ткани и прислушиваясь к глухим ударам – бум! бум! бум! – раздававшимся снова и снова.

Наш сын? Я удивилась, не понимая еще, о чем он говорит. Но до меня постепенно доходило, хоть и трудно было в это поверить, что суровые черты отцовского лица оживляет гордость. Минос гордился чудовищем, выращенным нами в недрах дворца, ведь чудовище это его прославило. Вместо того чтобы сделать рогатого Миноса предметом насмешек, Посейдон вручил ему грозное оружие – зверя, посланного свыше, который, и отец осознал это, лишь укрепит его положение.

– Нужно дать ему имя, – заявил Минос, но я не открыла рот, не сказала “Астерий”, ведь отцу, конечно, было все равно, как мы с Пасифаей звали моего брата.

Минос подошел к дверям, и от звука его близких шагов удары – бум! бум! бум! – усилились: брата переполняло возбуждение. Отец приложил ладонь к деревянной створке, и когда та запрыгала под его ладонью, едва выдерживая натиск хищной силы, улыбнулся только шире.

– Минотавр, – сказал отец, заявив свои права на моего брата. – Вот подходящее имя для зверя.

Так Астерий превратился в Минотавра. Он не был больше принадлежностью моей матери, средоточием разнообразных чувств – стыда, перемешанного с любовью и отчаянием, а стал свидетельством превосходства отца перед всем миром. Я поняла, почему Минос провозгласил брата Минотавром: заклеив посланное богами чудовище своим именем, отец признал его рождение и сам стал легендарным вместе с ним. Понимая, что ни в одной конюшне на свете Минотавра уже не запрешь, Минос вынудил Дедала создать самое грандиозное и впечатляющее его творение. Огромный лабиринт в подземельях дворца – такой только в кошмарном сне и увидишь: извилистые проходы, тупики, петлистые ответвления вели неминуемо, все до одного, к мрачной сердцевине. Логову Минотавра.

После того как дитя Пасифаи заточили в зловонной тьме запутанных подземных ходов, где на рев его откликалось лишь одинокое эхо да гремели под копытами истлевающие кости, я вновь начала замечать на ее лице проблески каких-то чувств. Раньше она сияла от радости, любви и веселья, а теперь помрачнела от горечи и затаенного, тлеющего гнева. Некогда излучавшая золотой свет, дочь солнца потускнела – проступавшая наружу угрюмая обида замарала ее.

Я лишилась матери в тот день, когда проклятие Посейдона загнало Пасифаю на пастбище, где поджидал священный зверь, но все еще искала ее, хоть и знала, что поиски эти бесплодны. Раз за разом встречая отпор, я вновь, беспомощно и безнадежно, стремилась в покои матери, чтобы попытаться вывести ее опять на белый свет. Чаще всего двери были замкнуты и Пасифая, хоть находилась совсем рядом, никак не откликалась на мой зов.

Но однажды я пришла и хотела уже приналечь – как всегда, безуспешно – на запертую дверь, а она вдруг подалась, распахнулась беззвучно и плавно – так открывались все двери работы Дедала.

Мать не заградила вход в свое убежище и не слышала, как я зашла. В комнате царил полумрак; куски плотной ткани, кое-как развешанные на окнах, не давали проникнуть сюда золотистому, теплему свету дня. От едкого запаха трав заслезилась глаза. Я растерянно огляделась, силясь рассмотреть Пасифаю в темноте.

Безмолвная и неподвижная, она сидела на полу, прямо посреди просторной комнаты. В статуях Дедала было больше жизни, чем в ней. За прядями волос, упавших Пасифае на лицо, я видела ее глаза – вернее, белки глаз.

– Мама? – шепнула я.

Она не показала, что слышит меня. В комнате было нечем дышать, и я попяtilась, нащупывая дверь. Необъяснимый ужас стал разрастаться в моей груди в этом замкнутом пространстве, я не могла понять, почему происходящее до того мне не нравится, что дрожь пробирает даже в духоте знойного дня. Понимала только одно: надо выбраться отсюда, вернуться на свежий воздух, где пахнет лавандой и пчелы гудят вокруг танцевальной площадки, где все обычно, невинно и приятно.

Отпрянув, я успела, однако, заметить фигурку, распластанную на полу перед матерью. Не поняла, восковая она или глиняная. Не поняла даже, человеческая ли – так перекручены и изломаны были ее конечности. Вялая рука матери застыла над фигуркой, на ее бледном запястье висело незнакомое украшение – обломок кости, кажется, – раньше она такого не носила.

Ужасов с меня хватало – наелась досыта после рождения брата. И ни минуты не хотела здесь задерживаться. Может, это просто кукла, просто браслет и ничего больше. Остаться и выяснять я не стала. Развернулась, выбежала прочь и никогда ничего у матери не спрашивала. Старалась даже не вспоминать об этом, но не властна была над чужими мыслями и языками.

По Кноссу, вздуваясь и нарастая, ходили волнами слухи. Обрывки сплетен доносились до меня со всех сторон. Богиня-колдунья замыслила отомстить мужу – так говорили друг другу прачки, топча грязное белье у реки, торговцы, встречаясь на рынках, служанки, хихикая по дворцовым покоем, аристократы, попивая вино из огромных бронзовых чаш, – и хохот их раскатывался по парадному залу нашего же дворца. Они давились смехом, слушая рассказы о том, как девушек, которых Минос укладывал в свою постель, вдруг, в самый миг его наслаждения, пронзала сильнейшая боль, будто их жгло и жалило изнутри, они кричали и в конце концов умирали в муках, а когда Минос обратился за советом к лекарю и тот вскрыл одну из них, наружу поползли скорпионы. Это Пасифая наложила проклятье, уверяли они, а что царица на такое способна, никто не сомневался. Всюду звучало одно и то же, не было никакого спасения от змеиного шипа, стелившегося по воздуху: она сама хотела – и быка, и чудовище, визжала от удовольствия, спору нет, а этот ублюдок, которого она принесла, такой же урод, как матушка.

Ужасные слова обтекали нас густым, липким маслом. Мерзкая скверна пристала к нашей семье, легла на гладкий мрамор и позолоту, испачкала роскошные гобелены на стенах, от нее кисли сливки, горчил мед, все гнило, отравляло, портилось. Девкалиона, которому повезло родиться мужчиной, отправили в Ликийю, где ему предстояло возмужать, имея перед собой не такой жестокий пример: дядя Сарпедон, царствовавший там, был добрей своего брата Миноса. А мы с Федрой остались – таков удел дочерей. И Дедал, если хотел от всех нас бежать, утратил такую возможность. Минос заключил его в башне вместе с Икаром и выходить разрешал только под надзором стражников – не мог допустить, чтобы слухи о тайнах Лабиринта просачивались за пределы Крита, способствуя, может быть, укреплению других царств.

Критяне презирали нас. Заискивали перед нами, наперебой добиваясь благосклонности, а наедине рассказывали друг другу о наших извращенных, противоестественных повадках. Они кланялись Миносу при дворе, но, склоняя перед ним голову в знак покорности, насмешливо поглядывали исподлобья. Я их не осуждала. Они знали, куда теперь бросают критских узников и какое наказание за любой проступок ждет их в жутком лабиринте, вырубленном в скале, на которой блистал кноссский дворец. Не сомневаюсь, Минос чувствовал этот гнев, смешанный с досадой и презрением, но наслаждался страхом критян, державшим их в узде. Злые слова не впивались в отца градом кинжалов. Напротив, он облачился в чужую ненависть, будто в сияющую броню.

А я танцевала. Выплетала сложный узор на большом деревянном кругу, обвитая красными лентами. Мои босые ноги выстукивали на гладких досках безумный, яростный ритм, а длинные красные полосы перевивались, рассекая воздух, устремляясь вниз и колеблясь вместе со мной. Я двигалась быстрее, еще быстрее, и мой собственный топот все громче звучал в голове, начисто заглушая жестокий смех, повсюду звеневший за спиной. Заглушая даже гортанный рев моего брата и громкие мольбы несчастных, которых затолкали в тяжелые двери на железных засовах под каменной притолокой с высеченным на ней лабрисом. Я танцевала, и вместо тихо закипавшей злобы во мне уже бурлил гнев, гнал меня вперед еще быстрее, еще неистовей, и в конце концов, безнадежно запутавшись в алом мотке, я падала чуть дыша прямо посреди площадки и ждала, пока густой туман, застилавший глаза и мысли, рассеется.

Время шло. Мой старший брат Андрогей, много лет оттачивавший атлетическое мастерство вдали от дома, навестил нас. Ужаснулся, конечно, увидев, что творится в Кноссе, и поспешил уехать снова – на Панафинеи, где завоевал все награды, за что и удостоился смерти в пустынных афинских холмах – его пронзил рогами дикий бык. Мой отец не горевал по-настоящему, но, снарядив флот, отправился воевать – и учинил разгром, оставив после себя отчаяние, скорбь и груды трупов и не забыв, что среди них лежало тело девушки, которая его любила, а он ее утопил.

Отец принес критянам радостную весть: больше провинившихся не будут приносить в жертву прозорливому Минотавр, ведь Минос подчинил Афины и принудил их отдавать нам по четырнадцать детей каждый год – в уплату за жизнь моего старшего брата и на прокорм младшему.

Я отказывалась думать о семерых юношах и семерых девушках, которых привозили связанными из-за моря на кораблях под черными парусами. Отказывалась вообразить ужасы Лабиринта, сырой, затхлый дух смерти и безысходности, треск разрываемой зубами плоти. Одна жатва минула, за ней другая. Я обращала лицо к сумеречному небосводу и высматривала созвездия, врезанные богами в его огромный купол, – фигуры смертных, ставших для этих богов игрушками, выхваченные из тьмы красивыми огоньками.

Я отказывалась думать. Вместо этого танцевала.

Глава 3

Была я между тем девушкой восемнадцати лет и радовалась, что все еще могу так называться. Вела уединенную жизнь – спрятанная под покрывалом да за высокими стенами. Мне повезло – отец хранил меня будто ценный приз, который еще только предстояло вручить, не отдал в чужую страну, дабы скрепить с ней союз, не отослал на корабле к дальним берегам, дабы распространить свое влияние, не продал как бессловесное животное на рынке. Но долго так продолжаться не могло.

Минос слыл человеком хладнокровным, обо всем судившим бесстрастно. Ни разу я не слышала, как он кричит, охваченный гневом. Но и как смеется, кажется, тоже ни разу не слышала. Достоинство не позволяло ему испытывать чувства – пусть другие, не такие важные смертные испытывают, пусть эти чувства отражаются на их лицах, искажают их черты, делают их слабыми, – тем легче Миносу вертеть этими смертными, склонять куда угодно, он ведь скульптор, а мы глина, и нас можно поставить в нужное положение или просто измять, если вдруг не угодим. Поэтому не следовало опасаться, что какая-то там любовь или доброта затуманят его взор, когда настанет время выбрать мне мужа. Холодный рассудок примет решение.

– Лишь бы не старик какой-нибудь, – сказала Федра однажды с отвращением, сквозившим в каждом звуке. Мы сидели во двореке, выходявшем на море. – Вроде Радаманта.

Она поморщилась. Федре было тринадцать, она считала, что знает все обо всем и обо всех, и по большей части все и всех высмеивала.

Я невольно расхохоталась. Радамант был критским старейшиной. Минос ничьих советов не слушал, но этому почтенному древнему аристократу позволял выносить решения по мелким тяжбам и жалобам, с которыми приходили во дворец ежедневно. Глаз Радаманта слезился, однако впивался в виновного, представавшего перед ним, с прежней остротой, сморщенные, как старый пергамент, руки тряслись, когда он тыкал в виновного пальцем, однако даже самые вздорные и разобиженные истцы замолкали, в страхе ожидая веских, громоздких слов старика.

Я представила его жидкие седины, слезящиеся глаза, наплывающие одна на другую складки обвисшей кожи. Но тут вспомнила, как однажды Амальтея, жена земледельца Йоргоса, пришла в суд и умоляла Радаманта вступить за нее перед жестоким мужем. Самодовольный Йоргос вышагивал по залу и заявлял, хорохорясь, что имеет право наказывать собственных домочадцев, а зрители, рассерженные наглостью жалобщицы, одобрительно кивали, все до единого. Радамант же, прищурившись, долго смотрел на заносчивого мужчину, расхаживавшего туда-сюда, на его крепкие мускулы, стянутые пучками у плеч, и сжатые кулаки, огромные, увесистые, которыми Йоргос размахивал в подтверждение своих слов. Потом посмотрел на хрупкую плачущую женщину, сжавшуюся в комок, – на шее у нее призраками цветов распускались синяки. И заговорил.

– Йоргос, осел не станет крепче, если будешь его колотить. А совсем наоборот – ослабеет и не сможет таскать тяжести. Захочешь его покормить – отпрянет в страхе и станет со временем тощим, забитым. Захочешь нагрузить его товаром и поехать на рынок – рухнет под ношей, которую когда-то с легкостью возил. И не будет тебе от этого осла никакого толку.

Все видели, что Йоргос прислушивается. Проникновенные мольбы собственной жены – сжался, помилосердствуй! – не трогали его ничуть, а вот слова Радаманта заставили внимать.

Радамант откинулся в высоком кресле.

– Эта женщина может выносить твоих сыновей. Когда состаришься, они возьмут на себя бремя забот о твоём хозяйстве. Но крепкого сына женщине выносить очень трудно, и если будешь дальше так с ней обращаться, она ослабнет, как тот осел, и не преподнесет тебе такого подарка.

Немногие женщины, наверное, воспрянули бы духом, начни их сравнивать с ослиами, но я увидела, как в глазах Амальтеи забрезжил слабый луч надежды. Йоргос хмыкал и что-то бормотал, ворочая сказанное Радамантом в своей тупой голове.

– Я понял тебя, благородный господин, – ответил он наконец. – И обдумаю твои слова.

Повернувшись к жене, Йоргос не дернул ее грубо за плечо, а протянул ей руку в неуклюжей попытке проявить заботу.

Едва различимый вздох неудовольствия будто бы всколыхнул зал суда – собравшиеся мужчины ожидали зрелища поинтересней. Я и сейчас помнила их алчные взгляды, прикованные к отчаявшейся женщине.

– Может, Радамант и не самый плохой, хоть и очень старый, – такое предположение я высказала Федре.

– Фу! – ответила она и, дабы выразить свое отвращение, издала много других, самых разнообразных звуков, царевне не приличествующих.

– А ты-то на кого надеешься? – усмехнулась я.

Она вздохнула, печально перебирая в голове часто бывавших при дворе аристократов. Упершись локтями в низкую каменную ограду, Федра положила голову на руки и посмотрела в даль за скалистым берегом.

– На нездешнего.

Каких, интересно, кораблей ждет она из-за моря, так пристально в него вглядываясь, подумала я. В нашем порту кипела жизнь, через него текли нескончаемым потоком торговцы из Микен, Египта, Финикии и других земель, за пределами нашего воображения. Не только покрытые морским загаром капитаны и купцы с заглубевшими на солнце лицами прибывали сюда, щурясь в ослепительном сиянии критского полдня, но и гладкоречивые царевичи, и лощеные аристократы в шелках и сверкающих драгоценностях. Привозили свертки тонких тканей, груды блестящих оливок, амфоры с ценным маслом, отжатым из этих оливок, мешки, набитые зерном, выводили с палуб напуганных быстроногих животных, и наверняка кто-нибудь из владельцев этих сокровищ хотел бы обменять их на дочь царя Миноса, то есть на почтенную и благородную родословную с будоражащим семейным позором в придачу. Страх и восхищение многих влекли ко двору Миноса, и некоторые, наверное, не прочь были привезти домой частицу этой славы, перемешанной с ужасом, и породниться с силой, всем этим повелевавшей. Но если кто и сватался до сих пор ко мне или к Федре, пусть и совсем еще юной, Минос отказывал. Отец мог себе позволить не торопясь подыскивать женихов, наиболее выгодных для него самого.

– Вообрази, Ариадна, – Федра повернулась ко мне. – Сядешь ты на корабль и уплывешь отсюда. Будешь жить за морями в мраморном дворце, полном несметных богатств.

– Мы и так живем в богатом дворце, – возразила я, – и окружены роскошью. Какую еще можешь ты вообразить?

Федра быстро опустила глаза. Я понимала, что она имеет в виду. Роскошь – жить во дворце, где в подвалах хранилища с зерном да винные погреба, и больше ничего. Роскошь – засыпать, зная, что тебя не разбудит яростный голодный рев, отдающийся эхом в глубине под ногами. И земля не загудит, не содрогнется от бешенства зверя, заточенного в темнице ее недр.

– Хочу сбежать от всех этих любопытных взглядов, – сказала она с досадой. – От всех этих грязных сплетен и болтливых глупцов. Хочу быть царицей, которую подданные уважают, и не прислушиваться, выходя за порог, какую чушь обо мне, посмеиваясь, говорят.

Посуровев лицом и сжав челюсти, она отвела взгляд.

Я вспомнила, как она, в младенчестве еще, испытав хоть малейшее неудобство, сразу принималась возмущенно орать. Она не хотела сидеть на месте и, едва наловчившись кое-как переставлять ноги, решительно плелась за мной. А когда выучилась лепетать, ее пронзительный, тонкий голосок то и дело попискивал в переходах дворца, чего-нибудь требуя. Паси-

фая глядела на младшую дочь, такую неугомонную, полную жизни, и добродушно смеялась, а потом Посейдон послал быка – Федре тогда исполнилось пять, – и детство ее скоростижно закончилось, а чистота была осквернена и задушена самым непристойным, постыдным, чудовищным образом.

Я обняла сестру одной рукой, нащупав тонкие косточки ее плеча, хрупкие, словно у птички. Какая она еще юная! От моего прикосновения Федра сжалась, а потом с протяжным, размеренным вздохом обмякла.

И сказала, уже теплее:

– Надеюсь только, что, куда бы мы ни отправились – и лучше как можно дальше отсюда, – отправимся вместе. – Федра подняла руку к плечу, сплела свои тонкие пальцы с моими. – Представить не могу, что ты оставишь меня здесь одну.

Но наши надежды значения не имели, только воля Миноса имела значение. И когда однажды хмурым днем отец вызвал меня к себе, я заподозрила, что он подобрал наконец подходящего зятя, и совсем не удивилась, обнаружив в парадном зале, перед алым тронном Миноса, незнакомого мужчину.

Лишь слабый серый свет проникал снаружи, сочился между колонн, отделявших зал от внутреннего двора, а мужчина стоял в тени. Я нерешительно помедлила у входа, силясь разглядеть что-нибудь еще сквозь тонкое покрывало, трепетавшее у лица.

– Моя дочь Ариадна.

Голос Миноса был холоден и бесстрастен. Я смотрела в пол. На мозаичных плитах под моими ногами скачущий бык вскидывал рога, не сводя безумных черных глаз с человека, который, сделав прыжок, изогнулся в воздухе.

– В ее жилах течет кровь солнца – с материнской стороны, кровь Зевса – с моей.

– Просто поразительно, – откликнулся мужчина.

Незнакомец говорил не как уроженцы Крита, но по произношению мое неопытное ухо не могло распознать, откуда он родом.

– Однако меня интересует не кровь.

Ступая по мозаичным плитам, он направился ко мне.

– Покажешь мне лицо, царевна?

Я подняла глаза на отца. Тот кивнул. Сердце мое колотилось. Непослушными, будто бы распухшими пальцами я потянулась к застёжке, но слишком долго возилась. Мужчина, которого интересовала не моя кровь, уже откинул покрывало сам. Ощувив прикосновение его влажной ладони к виску, я отшатнулась и ждала, что отец упрекнет незнакомца за такую дерзость, но Минос лишь улыбнулся.

– Ариадна, это Кинир, царь Кипра, – сказал он вкрадчиво.

Царь Кипра Кинир стоял так близко, что я ощутила его дыхание на лице. И решительно отвела глаза, но он взял меня за подбородок и опять повернул к себе. Его черные глаза поблескивали в сумраке. Голову облепляли гроздь темных кудрей. Губы лоснились – совсем рядом с моими.

– Очень рад с тобой познакомиться, – промурлыкал Кинир.

Хотелось отойти, устраниться от его тяжелого, несвежего дыхания, проникшего в мой рот, подобрать подол и бежать прочь. Но Минос одобрительно улыбался, и я не могла двинуться, пригвоздила себя к полу и невидящим взглядом смотрела вперед.

К моему облегчению, он сделал два шага назад.

– Ты верно говорил, она мила, – заметил Кинир.

Слова его текли как масло, липли ко мне. Теперь, когда он отошел, я чувствовала его взгляд, блуждавший по моему телу, медля то там, то здесь. Он влажно сглотнул. И нутро мое всколыхнулось.

– Разумеется, – отрезал Минос. – Можешь идти, Ариадна.

Я старалась не нарушать приличий и идти не спеша, но так рвалась наружу, так жаждала вдохнуть соленый чистый воздух, что слегка запнулась у порога, где мозаичный пол сменялся гладким камнем. И, выбираясь в благословенную прохладу двора, услышала за спиной раскатистый хохот мужчин.

Ослепшая и оглушенная, я бросилась в покои матери. Знала она что-нибудь? А если знала, тревожилась ли? Встретивший меня стеклянный взгляд, ровный и безучастный, говорил об обратном, но я должна была попробовать.

– Мама, там у отца человек – Кинир, он с Кипра... – выпалила я смущенно.

– Он царь Кипра, – ответила мать. Слова ее плыли по воздуху, как дым, в голосе – полное безразличие. – Правит в Пафосе. Там все цари – жрецы Афродиты.

Афродита – богиня любви – давным-давно, в тумане далеких времен, явилась из пены морской, изящно выступила на скалистый берег из вод Пафосской бухты, нагая, сияющая, совершенная. Ее могущественные братья и сестры правили небесами и подземным царством, а Афродита властвовала над сердцами – не только людей, но и бессмертных.

Я схватила Пасифаю за руку, чтобы она наконец меня заметила. Опять с отвращением подумала о Кинире, отвернулась, уронила руки. И стала допытываться:

– И что отец хочет от этого царя, жреца этого? Зачем он здесь?

– Миносу нужна медь, на Кипре ее много. Крит станет еще богаче, и Кипр будет на нашей стороне, если афиняне вдруг взбунтуются.

Мать, похоже, повторяла чужие слова. Я даже не знала, понимает ли она, о чем говорит, тон ее был равнодушен, ничего не выражал, как и глаза.

– А что Кинир хочет взамен? Жениться на мне?

– Да. И тогда Минос получит медь.

Она как будто о пасмурном небе говорила или об ужине, который готовят сегодня слуги. Я тяжело опустилась на ложе рядом с ней.

– Но я не хочу за него замуж.

– Корабль Кинира отплывает после жатвы. Свадьба будет на Кипре, – мать продолжала бездумно повторять за кем-то, будто и не слыша меня.

– Я не хочу туда, – сказала я опять.

Но она не отвечала. А подняв глаза, я увидела Федру в раме дверного проема – рот ее округлился в непритворном ужасе, отражавшем мой собственный, исполненный муки взгляд застыл на мне, а в нем смешались сострадание и смертельный страх.

Я встала, хоть ноги тряслись, и сделала еще попытку.

– Он мне противен!

Но Пасифая сгинула – унеслась в далекое море своих бессвязных мыслей. А Федра с немym сочувствием смотрела на меня, не зная, что сказать.

– Если не поможешь мне, сама пойду к Миносу, – заявила я.

И Федра вытаращила глаза. Даже Пасифая, пусть лишь на миг, но изумилась и глянула на меня. Я понимала, что идти к Миносу, скорее всего, без толку – только гнев на себя навлечешь, но попробовать надо было.

К выходу направилась без всякой смелости. Какая там смелость, когда выбор невелик – или идти, или принять свою участь, которая намного страшней, даже не попытавшись избежать ее.

Федра вложила ладошку мне в руку. Сказала:

– Я пойду с тобой.

И сердце мое переполнилось. Она великодушно рисковала ради меня навлечь на себя отцовское неудовольствие. Но я ей, разумеется, не позволила.

– Я пойду одна. Но благодарю тебя.

Она раздосадованно тряхнула головой.

– Не надо меня защищать.

– Не надо, – согласилась я. – Но, если мы явимся обе, он еще больше рассердится.

Словом, в тронный зал я пришла одна. Минос восседал в своем алом кресле, возвышаясь надо всеми. На росписи за его спиной застыли в прыжке дельфины – выскакивали из воды и ныряли обратно, и так без конца. Советники, аристократы и прихлебатели всех мастей толпились вокруг, но Кинира среди них, к счастью, не было видно.

– Дочь, – сказал он неприветливо, без всякого выражения.

Я сжала кулаки в складках юбки. Ногти врезались в ладонь.

– Отец.

Склонила голову. Мысленно поблагодарив остальных, пока не обращавших на меня внимания.

Он смотрел на меня холодными серыми глазами. Блуждающий взгляд Пасифаи нельзя было поймать, зато бесстрастный взор Миноса ввинчивался прямо в лоб и словно видел мои мысли – разумеется, ничем не примечательные. Отец не любезничал попусту, он ждал в непоколебимом молчании, и мне пришлось начать кое-как – слова, задавленные в гортани, медленно умирали перед ним от удущья.

Я набрала воздуха в грудь.

– Мама сказала, что я должна выйти за Кинира.

Минос кивнул. Стоявшие рядом придворные уже посматривали на нас, их разговоры постепенно смолкали.

– Отец, прошу... – начала было я.

Но он меня осек – словами и пренебрежительным взмахом руки, разрезавшим воздух.

– Кинир – полезный союзник. Этот брак всему Криту во благо.

Терпение Миноса кончилось. Еще мгновение – и он перестанет слушать.

– Но я не хочу за него замуж!

Все стихло разом, будто от слов моих, как от камушка, брошенного в стоячий пруд, рябью разошлось потрясенное молчание.

Минос усмехнулся.

– Ты уплывешь с ним послезавтра.

Тогда я снова открыла рот. Щеки мои потеплели. Потом загорелись. Слова уже обретали форму – их нельзя было говорить, но и удержать нельзя.

Но прежде чем с моих губ сорвалось непоправимое, кто-то потянул меня за рукав.

Отважная малышка Федра все-таки пошла за мной. Наши глаза встретились, она слегка мотнула головой, и несказанные слова растаяли.

Да и какими словами могла я заставить его слушать? Заставить его повернуться, оторваться вдруг от важных забот – что делается при дворе да как крестьян держать в узде, – от бесконечно роившихся в его холодной голове подсчетов, что выбрать, что принесет ему наибольшую пользу – медь, золото, а то и чей-нибудь страх, такой прекрасный, безысходный, удушающий, – оторваться и посмотреть наконец на меня, разглядеть как следует, может быть, впервые? Я вспомнила его улыбку в то леденящее, жуткое утро у конюшен, разливавшуюся по лицу, как сливки, и содрогнулась.

Корабль Кинира скоро уплывет – подальше отсюда, подальше от Лабиринта. И от Миноса.

Вскипевшая, клокочущая ненависть уже опалила горло, но я проглотила ее. Представила свое лицо бесстрастным, гладким, как у мраморного изваяния, глаза – стеклянными, пустыми, как у Пасифаи. Посмотрела на Миноса без всякого выражения. В ответ получила суровый кивок.

Федра вывела меня из зала, я послушно шла за ней, не разбирая дороги, пока мы не остановились и ее теплая ладонь не выскользнула из моей. Тогда я тоскливо огляделась. Мы

вышли в тот самый дворик, где так беспечно болтали однажды о мужьях и не представляя, что старый или некрасивый супруг – еще не самое страшное. Федра молчала. Может, понимала, что нечего тут сказать, но догадывалась, надеюсь, как утешает ее присутствие. Не в последний ли раз стоим мы тут вот так, вдвоем?

Мы смотрели на море. Поглощенная своими мыслями, я далеко не сразу поняла, что Федра настойчиво сжимает мою руку и зовет меня.

– Смотри, Ариадна, корабль из Афин!

Глянув вниз, где раскинулась под обрывом просторная бухта, я поняла, что завладело вниманием Федры и вывело ее из нашего общего уныния. К пристани подошел огромный корабль под черными парусами. И сестра не ошиблась – похоже, и правда прибыли заложники, присланные в этом году.

– Никогда их толком не видела, – сказала я.

– Потому что убегаешь все время, – ответила она.

Так и было. Уже две жатвы минуло, дважды корабль с четырнадцатью заплаканными детьми Афин на борту причаливал к нашим берегам – и оба раза я пряталась в самых дальних покоях дворца. Лишь мельком видела бледные лица, искаженные ужасом. Заслышав издали, как заложники грохочут цепями, убегала как можно дальше. А когда отец все же заставлял меня выйти, желая выставить своих дочерей напоказ, похвастать собственной удачей, – смотрела в одну точку, прямо перед собой. Не позволяла себе заглянуть заложникам в глаза – вообразить не могла, что там увижу.

Но теперь я смотрела на них. Потому, наверное, что понимала: это последняя моя жатва на Крите. Или потому, что бремя трусости, отчаянного нежелания видеть правду свалилось наконец с моих плеч. Завтра я уплыву отсюда – вместе с омерзительным Киниром. Долгие муки – вот моя участь, а юных афинян, которых выводили с палубы на критский берег при свете солнца, согревавшего их в последний раз, ожидала совсем другая. Губы задрожали, но я, превратив лицо в маску, наблюдала за ними дальше.

Заложники жались друг к другу. Спотыкавшихся критские стражники грубо дергали за плечи, ставили на ноги. И посмеивались, отчего во мне закипала бессильная ярость. Разве мало, что они ведут юношей и девушек на смерть? Зачем же обращаться с ними так немилосердно, упиваясь собственной властью и жестокостью?

Девушка, шедшая позади, поскользнулась – то ли оступилась, то ли попробовала повернуть назад в отчаянии, будто могла опять взойти на корабль и вернуться домой, к родителям, – но оказавшийся рядом мужчина подхватил ее. Он был выше других заложников и шире в плечах, и я подумала сначала, что человек этот, наверное, из корабельной команды или послан надзирать за жертвами. Он бережно поднял девушку на ноги, заботливо обнял ее одной рукой, и я обрадовалась – среди жестокости нашлось место и доброте. Кто-то их сопровождает – как хорошо! – хоть одно дружелюбное лицо увидят напоследок. Однако тут я заметила, что и этот человек прикован к цепи, связывавшей всех заложников, и растерялась.

А потом он коротко глянул вверх.

Видеть нас он мог только смутно – солнце уж очень слепило. Но мне показалось, что на мгновение глаза наши встретились. И я вдруг ощутила мимолетное спокойствие, зеленую прохладу – внезапную невозмутимость посреди всеобщего волнения.

А потом афиняне исчезли, скрылись за стенами порта. Я глянула на Федру: заметила ли она его? Лицо сестры искажилось таким же отвращением, какое испытывала я, наблюдая за происходящим.

– Идем!

Я уже хотела ее увести.

– Стой! – Голос Федры звенел, чистый, резкий. – Ариадна, не убегай опять! Третий год уже! – Она схватилась за голову. – Да как мы можем снова это допустить?

Солнце палило, обжигая спину, и перед глазами у меня замельтешили черные пятна.

– Да как мы можем помешать? – возразила я.

– Должен же быть выход.

Смириться с тем, что не все устроено так, как ей хочется, Федра не могла. Но даже ее непреклонная решимость была бессильна перед волей нашего отца.

– Какой? – Слезы подступили к горлу, но я проглотила их, заставила себя успокоиться. – Как помешать тому, чего хочет Минос?

– Должен быть выход, – повторила она, однако я слышала, что и ее уверенность пошатнулась.

– Пойдем, Федра. Третий год пошел, и до сих пор никто не придумал способа это предотвратить. Не в наших силах изменить их судьбу, как и свою собственную.

Она мотнула головой, но ничего не сказала. Дернув плечом, сбросила мою руку и зашагала прочь одна. Устало вздохнув, я собралась уже идти за ней.

Но напоследок еще раз глянула за край обрыва. Понимала, что они ушли, но все равно не удержалась и посмотрела.

Его холодный зеленый взгляд. Как внезапный толчок ледяной волны, которая выбивает из-под ног морское дно, и ты вдруг понимаешь, что далеко уже заплыл, на большую глубину.

Глава 4

Время жатвы настало в третий раз, и теперь просто забыть об этом я не могла. Отец хотел показать Киниру, своему предполагаемому зятю, дочь-царевну во всей красе. Каждый год, когда привозили заложников, на Крите проводились поминальные игры в честь Андрогей, и в этот раз мне предстояло на них присутствовать. Прятаться в укромном уголке больше не позволялось. Федра, хоть была меня намного младше, уговорила отца пустить и ее тоже. Служанка водрузила мне на голову сверкающую корону, лодыжки обмотала ремешками серебряных сандалий и облачила меня в ярко-синюю ткань, водой струившуюся меж пальцев. Но этот красивый наряд, казалось, мне совсем не подходил, и представляя, сколько взглядов он привлечет, я заранее поеживалась. На меня и без того столько уже глазели, столько судачили обо мне – на всю жизнь хватило. Словом, к своему месту у самой арены я не плыла, а шла спотыкаясь – без изящества, подобающего царевне, без величавости, с какой держалась, бывало, Пасифая, являясь на торжества.

Кинир, разумеется, уже ждал меня, полулежал на кипе подушек, приготовленных ради его удобства. Рядом стоял кувшин с вином, откуда он, наверное, не раз успел отхлебнуть, оттого и лицо побагровело. Я замялась, посмотрела в сторону Миноса, который стоял на возвышении в самом центре, собираясь объявить начало игр. И засиял от удовольствия, как начищенная монета, заметив, что мне неловко. Тогда ноги мои пошли сами. Нет уж, не порадую его, оступившись, не дам насладиться, увидев, насколько все это мне противно. Кинир сладострастно ухмыльнулся, когда я, одеревенелая, села рядом.

Свирепое полуденное солнце полыхало над землей, и я возблагодарила защищавший меня навес. Я с трудом различала, что происходит, – так слепил его золотой блеск, но тут гул голосов на зрительских трибунах смолк, послышался испуганный храп и мычание – это вывели украшенного гирляндами быка. Сначала он в ужасе вращал большими круглыми глазами и порывался бежать, но, когда приблизился к алтарю, на него снизошло кроткое умиротворение. Я наблюдала такое не раз – как животное смиренно тупеет и спокойно встречает погибель. Бык не видел еще спрятанного лезвия, но будто знал, что кровь его прольется во славу богов, и, может, такая достойная смерть казалась ему наградой. А может, и нет. Как бы там ни было, он покорно и безмятежно шагнул вперед, и обряд совершился – в гладкую белую шею вонзился нож. Кровь, хлынув на алтарь, блеснула на солнце. Мы почтили богов, и теперь они благосклонно взирали на наше празднество. Бык уронил величавую голову. Густой ручей рубиновой крови стекал по камням, а над ним атели ленты, обвивавшие бычьи рога.

На мгновение мне представилось, как Минотавр расхаживает по своей темнице, не видя солнечного света, всегда один, кроме единственного дня в году, и день этот – завтра, потом представился Андрогей – его статная фигура помнилась смутно – моя плоть и кровь, а на самом-то деле незнакомец, поднятый на рога другим быком. Братья. Их трагические судьбы привели сюда нас всех – и толпу зрителей, и безропотную жертву, убитую на наших глазах. И несчастных, которые примут смерть завтра, во тьме – их разорвет на куски свирепый, бесчувственный зверь – когда-то я надеялась его приручить.

Игры начались. Мужчины состязались в скорости – бегом и на колесницах, метали копьа и диски, боролись на кулаках. А солнце все палило. По вискам состязавшихся струился пот. И по моей спине скатилась капля. Я пошевелилась: как неудобно, скорей бы все это кончилось! Кинир, сидевший сбоку от меня, пил вино и издавал одобрительные возгласы, положив тяжелую влажную руку мне на бедро. Я скрежетала зубами, глотая оскорбление, пробовала отодвинуться, но его пальцы сжимались лишь крепче. Сидевшая с другой стороны Федра была в полном восторге.

– И долго это будет продолжаться? – пробормотала я.

Федра в мое равнодушие поверить не могла.

– Ариадна, да мы в жизни ничего увлекательней не видели!

Она укоризненно тряхнула белокурой головкой.

А мне так хотелось побыть одной на танцевальной площадке, втоптать все свои печали в ее деревянную гладь. Только это стерло бы мысль о завтрашнем дне, когда пустынный Лабиринт оживят совсем ненадолго погоня, крики, треск плоти, сдираемой с костей. О корабле, на который мне предстоит взойти потом, о жизни, что ждет меня за морем, на Кипре. Я сглотнула и заставила себя смотреть на арену – хоть так отвлекусь от этих мрачных картин.

На солнце набежало облачко, и я, все наконец разглядев, спросила:

– А кто это?

До сих пор среди состязавшихся я узнавала только критян – по большей части цвет нашей молодежи, – каждый стремился к первенству, расталкивая других. Но юноша, вышедший на площадку для кулачного боя теперь, был мне неизвестен. Хотя... Я подалась вперед, вгляделась в лицо незнакомца. И поняла, что видела его уже, но где – никак не могла уразуметь.

Высокий, плечистый и сильный, без сомнения, – недаром держится непринужденно, да и мускулы у него такие, что вспоминаются красивейшие мраморные статуи нашего дворца. Шагал он весьма уверенно и твердо – я растерялась даже: вроде бы чужак, а чувствует себя как дома.

– Тесея, царевич из Афин, – шепнула Федра.

Такого быть не могло – в Афинах нас ненавидели, горько и справедливо, так зачем их царевичу соревноваться в наших играх? Но не только поэтому я посмотрела на Федру испытующе – что-то такое прозвучало в ее голосе. Не сводя с царевича глаз, сестра продолжила:

– Он у самого Миноса попросил разрешения участвовать в играх и ради этого на сегодня был освобожден.

Афины. Был освобожден.

– Он что же, данник? – пискнула я, ушам не веря. – Самого царевича доставили в цепях, чтобы мы его тут в жертву принесли? Зачем Афины отправили нам царского сына?

– Он сам вызвался. – На этот раз мечтательность в голосе Федры мне точно не помешалась. – Не допущу, сказал, чтобы дети моих сородичей отправились туда одни, и занял среди них место.

– Глупец! – фыркнул Кинир.

Я подпрыгнула. Почти удалось забыть, что он здесь.

Мгновение мы молча наблюдали за Тесеем, а я постигала сказанное сестрой. И думала: как на такое пойти, где взять смелость? Отвергнуть богатство, желания, власть и в самом расцвете юности отдать жизнь за свой народ. Отправиться сознательно и добровольно в змеиные извивы наших подземелий, стать живым мясом для нашего чудовища. Я уставилась на этого Тесея, будто надеялась, вглядевшись поусерднее, разобрать, какие думы скрывает его невозмутимое лицо. Это маска, разумеется, показное спокойствие, а под ним – бешеная гонка мыслей. Как тут не сходить с ума, понимая, что тебе предстоит, и всего через несколько часов?

А вот, пожалуй, и ответ, решила я, когда появился противник Тесея. Великан Тавр, отцовский военачальник, не человек – глыба. Его ухмыляющееся лицо с приплюснутым жабым носом было столь же уродливо, сколь прекрасно Тесею. А по вздутым мускулам, жутковато поблескивавшим от масла, ветвились жилы с веревку толщиной. Весь Крит знал, что Тавр безжалостен, заносчив и не ведает сострадания. Зверь, почти такой же дикий, как мой младший брат, яростно ревели там, под каменистой землей. Однако же не такой дикий, надо признать, и может быть, Тесея, все взвесив, рассудил, что лучше задохнуться в смертельных объятиях Тавра, здесь, при свете дня, чем отправиться на съедение в угольную черноту подземелья.

Жестокость этой схватки поразила меня. Тавр намного крупней Тесея и, конечно, победит – так мне казалось, но я не учла одного: мало быть просто большим, гораздо важнее ловкость. Только увидев, как Федра сосредоточенно застыла, всем телом подавшись вперед и крепко ухватившись за край деревянной скамьи, я поняла, что и сама сижу в такой же позе, и взяла себя в руки. Сжимая друг друга в страшных объятиях, сцепившись люто, борцы крутились так и сяк, стремясь опрокинуть один другого. По спинам их струился пот, и в каждом мускуле проступала мучительная натуга. Да, Тавр был огромен, но глаза у него уже полезли из орбит, и вид от этого сделался безумный и обескураженный, ведь Тесей медленно, но неотвратно брал верх и все ниже пригибал противника к земле. В восторженном предвкушении, затаив дыхание, мы наблюдали за ними – тишина стояла такая, что я прямо-таки слышала, как кости трещат.

Наконец Тавр ударился спиной о землю, и зрители оглушительно завопили от радости. Они явно были в восторге от храброго царевича и рассказов о нем. Но я-то знала, что это ничуть не умаляет их алчного желания увидеть, как завтра вечером его скормят заживо прожорливому Минотавр. Лучше уж его, чем их, и как восхитителен этот трепет, приправленный кровожадным волнением: тут тебе и царская кровь, и отвага, и победа – такая смесь, что устоять невозможно!

Игры кончились, и началось вручение наград. Но меня все это не волновало до тех пор, пока на помост не вывели чествовать одержавшего триумфальную победу над Тавром Тесея. Минос был в наилучшем расположении духа, широко улыбался и в порыве великодушия даже обнял царевича за плечо.

– Обычно наивысшая награда в этот день – оливковый венок, – изрек он. – Но сегодняшнее необычайное зрелище и награды заслуживает необычайной. Тесей, царевич афинский, за твое великое мастерство, проявленное сегодня, дарую тебе свободу. Завтра ты взойдешь на корабль и отправишься домой вместе с богатствами, которые привез в дар нам.

Я вздохнула с глубоким облегчением. И Федра тоже, она даже руку прижала к груди, желая, видно, унять колотившееся сердце.

А Тесей оставался серьезен.

– Благодарю тебя за доброту, царь Минос. Ты оказал мне великую честь, но согласиться я не могу. Я поклялся отправиться завтра во тьму и неизвестность вместе с моими братьями и сестрами, афинянами, и отступить не должен. Я сдержу слово.

Кинир как раз сделал хороший глоток вина, и теперь оно брызнуло у него изо рта. Красные капли оросили дорожную одежду, впитались в пурпур, оставив россыпь темных пятен. Вид у него был глупый и ошарашенный. После цветистых речей, которые Минос произносил весь день, краткий отказ Тесея прозвучал резко и совершенно неожиданно. Отец стер оторопь с лица почти мгновенно, и я заметила тлеющую на дне его глаз ярость.

– Воистину ты очень смел и благороден, правду говорят, – ответил он. – Крит принимает твою жертву с благодарностью.

Он резко повернулся ко мне. Сказал повелительно:

– Ариадна!

Я подскочила. Что я сделала? Неужели холодный взгляд Миноса проник даже в мои мысли? Неужели он понял, что в моем мятежном сердце растет восхищение этим человеком, который только что прилюдно смутил отца?

– Моя старшая дочь, – продолжил Минос. И сделал мне знак подняться.

Я робко встала, чувствуя сотни вдруг устремившихся на меня взглядов.

– Царевна Крита возложит на тебя венок победителя игр.

Этого я никак не ожидала. Раньше от меня такого не требовали. То ли отец хотел произвести впечатление на Кинира, то ли опасался, что, не совладав с собой, в пылу недостойного гнева растопчет венок, вместо того чтобы возложить на голову Тесея.

Под пронзительным взглядом Миноса мне оставалось только, пересилив себя, двинуться к помосту. Сначала я поеживалась под гнетом прикованных ко мне взглядов, но потом посмотрела на Тесея и увидела, как он внимательно смотрит на меня. Спокойно и твердо. Толпа вдруг размылась, стала просто фоном – теперь я видела только его.

И вот уже стояла перед ним, не в силах больше выдерживать его взгляд. Я не заметила, кто вручил мне венок – сам Минос или какой-нибудь слуга, – так остро ощущала близость Тесея. Он склонил голову, я неловкими руками уронила на нее венок и отступила, едва не запутавшись в длинном подоле. На трибунах, кажется, рукоплескали. Вернувшись на место, я увидела, как в пьяных глазах Кинира, нетвердой рукой державшего кувшин с вином, промелькнул упрек.

После этого праздничное воодушевление слегка угасло. Своим сдержанным достоинством Тесей всех нас смутил. Наверняка одни обрадовались бы, выйди он на свободу, живой и невредимый, а другим нежелание принять столь щедрый дар казалось подозрительным: уж не хочет ли этот Тесей таким образом нанести обиду Миносу, а стало быть, и всему Криту?

В легком смятении день близился к концу, и мы с Федрой встали, собравшись уходить. Кинир, бесцеремонно оттеснив нас, вышел первым – спешил сменить испачканные одежды. Федра явно была раздавлена, непролитые слезы стояли, поблескивая, в ее глазах. У моей маленькой сестры было мягкое сердце, в котором она не носила любви или привязанности к Минотавр. Поступок Тесея тронул чувствительную душу Федры, но ее прекрасные мечты разбились вдребезги, и это огорчило меня.

Однако я должна была признаться себе, что не только из печального сочувствия к сестре оглянулась на помост, где недавно стоял Тесей. Нечто иное притягивало меня. Но я заставила отяжелевшие ноги идти в другую сторону.

Над горами пламенело, закатываясь, красно-желтое солнце. Гелиос направлял свою громадную колесницу за горизонт, оставляя землю ночи. Я думала, что Тесея не увижу больше никогда.

После в парадном зале начался пир: чеканные бронзовые блюда, украшенные камнями, расписанные фигурками людей и зверей, были наполнены доверху мясом, рыбой, фруктами и медом, блестящими оливками и ломкими кусками соленого белого сыра. Вино текло рекой, музыканты играли и пели нам о богах и героях, сокровищах и чудовищах.

Минос выставлял напоказ свое богатство и могущество, и, увидев афинских пленников, которых он велел привести на праздник, я содрогнулась.

Они стояли в ряд, а я переводила потрясенный взгляд с одного на другого. Семь юношей, семь девушек. Все так еще молоды. Лицо мальчишки посередине исказилось – он силился вытянуть дрожавшие губы в прямую, угрюмую складку. Я заставила себя не отводить глаз, всматриваться в лица афинских сыновей и дочерей, которых мы распорядились доставить сюда и собирались убить. Во все четырнадцать. Тринадцать пленников были напуганы до смерти, глаза их покраснели, руки тряслись. Я удивлялась, как они вообще на ногах держатся. А четырнадцатому удивляться уже не приходилось.

Здесь я видела Тесея гораздо ближе, чем на арене, и испытывала смешанные чувства. Что проку смотреть на него теперь, если завтра он умрет? Отец выставил перед нами несчастных данников с неприкрытой жестокостью. Сам Минос так объяснил: они же виновники торжества. В зале слышались возбужденная болтовня и смех, а данники стояли и смотрели. Окруженные стражниками, держа связанные руки перед собой, они плакали, дрожали и молились.

Но не только афинян Минос выставил напоказ. На самом видном месте, прямо у главного стола, за которым разместились моя семья, скромно сидел Дедал. Годы отпечатались на его лице – гораздо больше прожитых им, а волосы побелели, хоть был он еще не стар. Творения Дедала, рассеянные по Кноссу, утверждали господство Миноса: искусностью Дедал превосходил всех мастеров мира, а принадлежал он Криту. Но самое известное его творение мало кто

видел – афинским заложникам представится редкий случай не только увидеть, но и обежать его запутанные ходы, и, может быть, они почтут это за честь. А может, и нет. Там так темно, что вряд ли можно как следует разглядеть все его чудеса, а когда поблизости яростно ревет взбесившееся чудовище, готовое разорвать тебя на куски, тут уж не до восхищения, какое мог бы, наверное, вызвать Лабиринт при иных обстоятельствах. Бремя этого знания давило Дедалу на плечи, отчего он и ходил теперь всегда сутулый. Совсем не тот статный и по-отечески добрый изобретатель, что прибыл в моем детстве на Крит совершенствовать свое мастерство. И теперь овладел им вполне, но покинуть остров не мог, хоть и не был закован в цепи, ведь Минос желал держать при себе тайны Лабиринта.

Но не за Дедалом наблюдала я на том пиру. Глаз не могла оторвать от афинян, от одного в особенности.

Интересно, знали герои, о которых в тот вечер пел сказитель, кем станут, еще до своих побед? Ощущали в то поворотное мгновение, когда одним решением меняется грядущее, как сама судьба рассекает воздух крыльями, озаряя все вокруг? Или вслепую шли вперед, не ведая, что близится переломный миг, когда общая судьба совершает поворот и куются отдельные судьбы? Не знаю, что я почувствовала, впервые встретившись глазами с Тесеем. Любопытство, пожалуй. Он единственный из заложников держал спину прямо, выдвинув нижнюю челюсть вперед, и не дрожал предательски, и не плакал. Мой взгляд он удерживал с невозмутимой дерзостью, будто я и не царевна вовсе, а он – не жертвоприношение. Я не придавала этому особого значения, но, оторвав глаза от Тесея, обнаружила, что мир вокруг иной – казалось, он распался на части, сместился, а потом вновь обрел форму – прежнюю, да не совсем. Будто я, наблюдая за водопадом, вдруг очнулась и поняла, что вода, омывающая скалу, меняется все время и той же самой не будет уже никогда.

Глава 5

– Думаешь, он сражаться решил? – лениво протянул Кинир, голос его погустел от вина и предвкушения.

Я метнула в него испепеляющий взгляд. Может, надеялась отпугнуть, заставить призадуматься, не зря ли он договорился с Миномом, что погрузит меня на корабль, а взамен оставит гору медных слитков? Глупа я была, если так, – подобных Киниру равнодушные лишь раздражают, а неприкрытое отвращение распаляет.

– Кто? – сказала я как можно ледянее.

– Царевич. Герой! – рассмеялся Кинир, но веселье его сочилось злобным ядом. – Не хнычет, как остальные. Может, думает Минотавра голыми руками побороть?

После этих слов по длинным скамьям прокатилось веселое оживление.

Этот великий афинянин, герой, о котором сложат столько легенд, и правда выделялся среди прочих мужчин, Он был выше, шире в плечах, красивей, конечно, и не просто царской осанкой отличался, но уверенной силой леопарда, готового к прыжку. Он вдохновит певцов и сказителей, его имя и на краю света услышат. В самом ли деле я видела это уже тогда? Или меня просто восхитили мускулистая грудь, густые волосы, сверкающие глаза, и я засмотрелась на него, ведь и любая засмотрелась бы? Слышала ли я, как вращаются зубчатые колеса судьбы, как скользит челнок в руках мойры или это просто колотилось мое взволнованное сердце? И не только мое, конечно: оторвав наконец взгляд от Тесея, я увидела, что младшая сестренка тоже смотрит на него зачарованно. Федра сидела, упершись локтями в стол, мечтательно склонив голову набок, в ее огромных голубых глазах светились страсть и нежность.

Но, кажется, царевич смотрел не на нее. Не желая выглядеть, подобно Федре, безнадежно влюбленной дурочкой, я приказала себе не глазеть на Тесея, но была уверена, что чувствую спиной тепло его взгляда, и чувство это происходит не от тщеславия или веры в лучшее.

Однако не только Тесей не сводил с меня глаз. Подняв голову, я перехватила пронзительный взгляд Дедала, поняла, что он заметил пробежавшую между мной и царевичем искру, и залилась румянцем. Поежилась – хоть смотрел он по-доброму, мне вдруг стало неуютно. Теперь уж я не знала, куда глаза девать на этом бесконечном пиру. И чтобы защититься хоть как-то, зашипела на младшую сестру.

– Федра! Закрой рот, а то муха влетит.

Сказала слишком уж покровительственно и властно, но сестра только глаза закатила и быстро, пока никто не видел, показала мне язык. Я рассмеялась. Однако улыбка моя лишь скрывала неистовство мыслей – испуганно и оттого сумбурно металась она по лабиринтам сознания, из одного тупика в другой. Неужели семерых юношей и семерых девушек, почти детей еще, и правда бросят в подземелье через каких-нибудь несколько часов? Бросят, я знала, но в голове это не укладывалось. Неодолимый ужас захлестывал, стоило только вообразить вопли во мраке пустынных, узких и кривых проходов, гнилостный дух безысходности и жуткий, сотрясающий землю топот копыт чудовища, рыщущего в поисках нежной, уязвимой плоти. Невыносимо, но может ли быть иначе?

Пасифая сидела, как всегда, безучастная, еды в тарелке не замечала, к чаше с вином не притронулась. Повинуясь порыву, я поднялась, тронула ее за плечо.

– Мама, на минутку.

Я без труда увела ее от пирующих, и никто на нас не оглянулся. Кинир был увлечен беседой с моим отцом. И громко хохотал – без сомнения, над собственными остротами, а Минос зловеще улыбался. Трепещущий отсвет факелов падал на его резко очерченное лицо, и на суровых щеках отца залегали глубокие тени. Смотрел он на Кинира, а видел, наверное, лишь крас-

новатый блеск меди, которую получит скоро в обмен на меня. На наш с Пасифаей уход отец явно не обратил внимания.

Вне зала, в сумрачных проходах, дышалось намного легче. Мне не удалось достучаться до нее прежде, но, может, удастся теперь?

– Прошу тебя, мама, – взмолилась я, и на мгновение она как будто посмотрела на меня осмысленно – видно, мой голос, взвившийся почти до крика, подействовал. – Скажи, что мы не бессильны! Что можем как-то остановить это зверство!

Пасифая молчала. Но в кои веки мне показалось, что она здесь, не отрешена, как обычно.

– Ты моя мать, мать Федры, мать Девкалиона. – Я сглотнула через силу. – Мать Астерия. – Тут глаза ее и впрямь блеснули. – А теперь подумай об афинских матерях, – сказала я тихо и неожиданно твердо. – Они знают, что ждет их сыновей и дочерей завтра. Только подумай, мама. А если бы мы были на их месте? Если бы это меня собирались бросить в Лабиринт? Ты знаешь, в кого превратился Астерий, знаешь, что он с ними сделает. Прошу тебя, мама, прошу, скажи, что нам не придется отобрать детей еще у четырнадцати матерей, чтобы Минос наконец насытился властью!

Я говорила все громче, пылко, иступленно.

Она ответила нескоро. Ей, видно, стоило немалых усилий заставить свое раздробленное сознание вернуться в настоящее, в то место, где мы находились сейчас, ведь оно было разорвано на куски ужасными событиями прошлого и вечно уносилось куда-то, подхваченное ветрами отчаяния.

– Что тут поделаешь? – выговорила она наконец. – Ему никто не может противостоять.

Я ощутила связь. Что-то между нами вспыхнуло и ожило. Я стиснула ее худенькую руку.

– А если кое-кто может?

– Твоего отца никому не побороть.

Она уже разжимала ладонь, снова уносилась куда-то мыслями. Но слова ее кое-что расставили по местам.

Отца никому не побороть. У него и власть, и войско, и непоколебимая вера в себя, и разъяренное чудовище в подземельях дворца. Могучая охрана, лучшая в мире, против которой грубая сила и крепкие мускулы – ничто.

А если бороться с ним и не нужно? Если можно обхитрить его, хоть здесь, конечно, потребуется ум ловкий и изобретательный? Минос деспот явный, прямолинейный, и власть его зиждется на обыкновенном страхе. Покуситься на нее никто не посмеет, так к чему уловки?

Я глубоко вдохнула. Здесь, за стенами пиршественного зала, воздух был свеж и пах камнем. Он остудил мои мысли, умерил и разогнавшуюся было панику, и жалость – на смену им пришло внезапно прозрение. С Пасифаей дальше говорить бесполезно. Говорить надо с другим, и я знала с кем.

Пир длился еще не один час, критская знать наслаждалась сполна – и угощаясь отцовским вином и едой, и возбужденно, хоть и вполголоса, делая предположения, сколько каждый из заложников продержится в Лабиринте будущей ночью, – но наконец он завершился, и, увидев, что Дедал уходит, как всегда, сопровождаемый стражником, который следовал за ним повсюду, я поспешила вдогонку. Слегка запыхавшись, поприветствовала его:

– Доброго вечера!

Он учтиво кивнул.

– И тебе, Ариадна.

Он был настрожен, я видела, чуял что-то неладное, но, обладая терпением искусного мастера, не торопился выяснять, чего мне надо.

– На моей танцевальной площадке дощечка расшаталась, – сказала я громко, для бдительного стражника. – Не мог бы ты взглянуть? Здесь я другим не доверяю, ведь это твое творение.

– Разумеется, царевна, – он почтительно склонил голову. – Завтра утром сразу этим займусь.

– Не завтра, а прямо сейчас! – Голос мой зазвенел повелительно, будто и не мой вовсе, и, кажется, напугал Дедала, хоть он почти не подал виду. – Прошу, пойдем, там работы всего ничего. На рассвете я должна танцевать, ведь завтра священный день и мне нужно к нему подготовиться – почтить богов, как умею лучше всего. К тому же вновь танцевать на твоей площадке мне придется нескоро, а может, и вовсе не придется. Это ведь произведение искусства, на Кипре такого не будет.

От таких слов взгляд Дедала смягчился, но предназначались они для внимательного стражника. Куда бы Дедал ни шел, с кем бы ни говорил – за ним всегда присматривали, и я опасалась вызвать подозрения, но завтра будет уже поздно. Он один мог мне помочь и к тому же всегда вел себя со мной как родной дядя, хоть и был в плену у моего отца. А кроме того, я знала, всегда носил с собой чувство вины за то, что невольно приложил руку к рождению Минотавра, – носил как сверкающий кристалл на шее, лелеял как хрупкий груз, чтобы случайно не разбить.

Я шла впереди, стуча подошвами сандалий по гладким каменным полам – запутанными петлями дворцовых ходов мы направлялись в мой внутренний дворик. Как я и ожидала, стражник замер в дверях, а Дедал последовал за мной к противоположному краю обширной площадки. Ночной воздух охлаждал мои горячие руки, остужал румянец, пятнами проступавший на щеках.

Дедал глянул под ноги, на деревянные дощечки без единого изъяна, потом на меня – вопросительно. Я встала на колени, он, помедлив, встал рядом со мной и сделал вид, что рассматривает безупречную поверхность пола. Тихо звенел фонтан, изливая холодную чистую воду в мраморную чашу – я понадеялась, что он укроет наши слова от ушей стражника. И поспешно прошептала:

– Дедал, мне нужно знать, как выйти из Лабиринта.

Он не удивился, похоже. Быть может, талант Дедала – разгадывать, как все на земле устроено, – помогал ему понимать и людские сердца. Или он просто хорошо меня знал.

– Хочешь спасти заложников, – пробормотал он. – Тесея хочешь спасти.

Я кивнула – не было времени стыдливо отрицать и что-то строить из себя.

– Хочу. Не могу допустить, чтобы это зверство совершилось опять.

– Это совершалось уже не раз, Ариадна. Не с красавцем-царевичем из Афин, но со множеством других юношей и девушек. Не знаю точно, сколько жизней отнял твой брат. Так почему жизнь Тесея настолько ценней?

Боровшиеся в моей гортани ответы слепились в твердый ком, преградив словам путь наружу. В самом ли деле лишь красота Тесея заставила меня действовать? Предоставила бы я заложников судьбе без возражений, не будь у одного из них глаза цвета морской волны и шелковистые волосы, к которым так хотелось прикоснуться?

Время было на исходе, и я спросила напрямую:

– Ты поможешь мне? Или помочь здесь нельзя?

– По-моему, нельзя.

Я с удивлением расслышала усталость в его словах. Мне казалось, для Дедала нет невозможного, не считая разве что побега с нашего острова.

– Неужели из Лабиринта и вправду не выйти, даже его создателю?

Я не могла в это поверить.

Он глубоко вздохнул.

– Вывести Тесея из Лабиринта можно, я дам тебе для этого кое-что.

Говорил он поспешно и тихо, но с крайним изнеможением в голосе. Сердце подскочило от его слов, вот только тон меня отрезвил.

– Но думаешь, он этого хочет, Ариадна?

Дедал увидел, что я растерялась. И, оглянувшись на стражника, заговорил еще быстрее – слова сыпались на меня, как камни, и били больно.

– По-твоему, жаждущий прославиться афинский царевич хочет, чтобы его спасла от чудовища красивая девушка? Удастся, думаешь, взять его за руку и тайно увезти с Крита под покрывалом, как мешок с зерном?

Он говорил и глядел в упор, а до меня постепенно доходило.

– Но Тесей так смотрел на меня... – Я подыскивала слова, силясь описать тот миг, когда между нами возникла некая связь, прошелестело невысказанное. – Убеждена, он хочет моей помощи.

Дедал печально улыбнулся, покачав головой.

– В этом я не сомневаюсь, Ариадна, – сказал он ласково. – Умирать будущей ночью царевич не намерен, но знает, что живым из Лабиринта не выбраться. Даже не будь Минотавра, по его проходам можно блуждать годами, и так и не выйти на белый свет. Об этом я позаботился, заточив твоего брата в сердце Лабиринта.

Слово “брат” он выделил особо, это точно. Хотел напомнить мне кое о чем, как видно, – о долге, семье и верности, надо полагать.

– Без тебя Тесею не обойтись, царевна, и он это знает, никто другой ему не поспособствует. Молва о тебе дошла до Афин, до края света донеслась. Что зверя этого ты помогала растить с младенчества, что сердце у тебя мягкое – наверняка ты знаешь больше других, знаешь секреты, и можно уговорить тебя их выдать. Тесею нужна твоя помощь, уж поверь, но не для того, чтобы скрыться от боя. Завтра он намерен сокрушить могучего Минотавра. Он покинет Крит, похитив его главное сокровище, оставив Лабиринт пустым, развеяв мифы. И воспевают будут отвагу Тесея, а не могущество твоего отца.

Стражник за нашими спинами пошевелился. Дедал был человеком аккуратным, и все же починка одной-единственной дощечки подозрительно затянулась. Он вынул из складок одежды тряпицу, протер пол рядом с нами для виду, как бы завершая сделанное.

– Я помогу тебе, Ариадна, – шепнул Дедал, так тихо, что я едва расслышала. – Он встал и учтиво подал мне руку, помогая подняться. Ухватившись за нее, я ощутила, как в ладонь вжался шершавый клубок. – Ношу это с собой с тех пор, как запер чудовище. Я помог ему появиться на свет и все ждал случая исправить содеянное. Ждал сильного и отважного данника, который справится с этой задачей.

Лицо Дедала было мрачно – раньше времени избороздилось морщинами от вида здешних суровых скал, освещенных теперь луной.

– Но я, царевна, не хочу добавить к своему позору еще и твою жизнь. Вспомни Скиллу, Ариадна. Если сделаешь это, не миновать тебе отцовского гнева, а значит, оставаться нельзя. Тебе придется навсегда покинуть Крит.

С этими словами он поспешно отошел и, не оглядываясь, направился обратно к стражнику.

А я осталась. Подставила лицо ночному ветерку – пусть омоет горячие щеки. Лягушки квакали, густой аромат оплетавших колонны цветов плыл по двору, будто ничего и не случилось и мир все тот же. Слова Дедала звучали снова и снова, тихие и такие веские – не отмахнешься. Я подождала, пока стихнут шаги, потом еще сто раз подождала, прежде чем разжать руку и посмотреть, что там. А когда разжала, свет хлынул наружу, затопил тьму, стер так страшившее меня будущее, и впереди заблестал путь к победе, о котором я и не подозревала.

В моей ладони лежал клубок красной веревки. Намотанной на тяжелый железный ключ.

Глава 6

Захочется ли после сказать, что мной тогда овладело безумие и я не понимала, что делаю? Что мойры направляли меня, а я просто двигалась, куда предназначено, и не в ответе за это?

Может, меня и впрямь послали мойры, как знать, но, выбегая со двора, я ничуть не сомневалась, куда держу путь, видела цель с кристальной ясностью, так редко наступающей. Я не останавливалась, не медлила даже, пока не замерла наконец, еле дыша, на краю обширной открытой площадки в самом центре дворца.

Небесная колесница Селены поднялась высоко и заливала камни серебристым светом. Я прислонилась к колонне, выкрашенной в густую охру, и, преодолевая себя, глядела на растопыренные пальцы – такие бледные на фоне темно-красного клубка, пока сердце не унялось и дыхание не успокоилось. Царило безмолвие, лишь откуда-то из глубин дворца доносилось чуть слышное пение и хохот мужчин – там еще пировали, но здесь, в сердце Кносса, все было тихо и все предоставлено мне.

Темницы располагались к северо-западу от внутреннего двора. Их не охраняли, хоть нынче ночью и поместили туда таких важных пленников, к тому же до того несчастных, что терять им было нечего. Эти четырнадцать бедняг ведь не матерые преступники, а значит, в искусстве побега не сильны, да и как наши узники сбегут, когда замки сам Дедал изготовил?

Их держали порознь: юношей отдельно от девушек, а царевича отдельно от остальных – пусть он всего лишь смиренный узник и добыча Минотавра, еще большему унижению – делить темницу со спутниками, а значит, с их мольбами и страхами (ведь в темноте, конечно, и плачут громче, и ведут себя недостойнее) его не подвергли. Одиочная темница Тесея располагалась в стороне от других и была вырублена в скале давным-давно, до того еще как Дедал оказался на нашем каменистом берегу. Ключ от этой самой двери, обмотанный алой веревкой, он и сунул тайком мне в руку, и вот теперь передо мной простиралось обширное пустое пространство, мы остались один на один с запертой дверью – и никаких свидетелей того, что я сделаю дальше, кроме звезд, забрызгавших полуночную небесную ширь. Осталось ли в этих далеких холодных огнях, наблюдавших теперь за мной, хоть что-то от людей, которыми они когда-то были – особенных, избранных, удостоившихся любви, но слишком приблизившихся к богам? Как они воспримут мой одинокий акт неповиновения, предательства, становления? Возопиют против такого безрассудства, неопикуемой дерзости? Или они просто плавают, бессмысленные и бесстрастные, в темной чаше неба, и все бывшее в них выгорело давно?

Не было нигде никакого движения. Только лягушки всё квакали, да ветерок обтекал меня прохладной влагой, когда я крадучись выскользнула из тени и бросилась стремглав через двор – перепуганная до смерти, как ребенок, который не смеет ноги спустить с кровати – вдруг выскочат из темноты зубы и когти да примутся терзать? Какой беззащитной я чувствовала себя, порхая по каменным плитам, – поверила в победу и храбрость свою, а теперь трусливо сжималась от страха.

Если бы кто расспросил с пристрастием, я призналась бы, что трепетало во мне и какое-то другое чувство – родственное страху и в то же время возбуждающее и живительное, оно вспыхнуло нынче вечером на пиру и теперь играло в крови, как вино. За этой дверью я увижу Тесея – его взъерошенные волосы, серебристо-серые глаза, его могучее тело – все до мелочей, и не только из боязни, что попадусь отцу, меня бросало в жар. Мужчин я знала мало – Минос да Минотавр и теперь еще Кинир, а они не прибавляли желаний узнать больше. По крайней мере так я думала, пока не встретила взглядом с красавцем заложником и, лишь на этом взгляде основываясь, не позволила пламени, которое он распалил во мне, разбушеваться, разъяриться и сжечь дотла всю мою прежнюю жизнь.

Я подкралась к двери неслышно, словно в обуви из пуха, тихонько вложила ключ в замок, но когда, нажав, повернула его что было силы и качнула громадную дверь, не успев еще понять, что она подалась, Тесей уже стоял у входа, спокойный, собранный, и не выказывал ни малейшего удивления. Будто все это время ждал меня.

– Царевна, – сказал он тихо, упал на одно колено, но уже через кратчайший миг поднялся и взял меня за руку. Пальцы его жгли, как раскаленное клеймо. – Нам надо где-то поговорить, без помех и лишних глаз, – вкрадчиво шепнул он мне на ухо. – Тебе наверняка известны все тайны Кносса. Отведешь меня в такое место?

Я колебалась. Думала ведь, вручу ему нить прямо здесь, в сумраке темницы, и уйду, после того как... После чего, я не знала в точности. Не таким уж безнадежно наивным ребенком я была, чтобы не знать, как опасно уходить тайком в укромный уголок со столь своевольным мужчиной, да сверх того уже осужденным на смерть. Однако Тесей мягко, но решительно подталкивал меня, к тому же вспомнились слова Дедала: тебе придется навсегда покинуть Крит. Я ведь знала, стоит взять этот ключ, и мне на острове не место, и теперь подумала: а что еще терять?

– Есть один уголок, над морем, за каменной грядой, – шепнула я и, плохо понимая, что делаю и как смею, взяла его за руку и заперла за нами дверь пустой темницы. Повела Тесея по проходу, прорубленному в скале, да так хитро – если не знать о нем, то и не заметишь. Выбравшись наружу, мы вдохнули свежий соленый воздух побережья, в котором, однако, явственно ощущался легкий запах гари.

Мы десять раз могли попасться. Когда теперь оглядываюсь назад, голова идет кругом от ужаса, который в тот день поглотило пламеневшее во мне возбуждение. В дрожь бросает, как представляю, сколь жуткое наказание изобрел бы для нас Минос, столкнусь мы с мимохожим стражником, служанкой или заплутавшим гулякой. Но сомнения меня не мучили, а самоуверенное легкомыслие юности и безрассудная страсть окрыляли, и я тайком отвела своего едва обретенного возлюбленного на край утеса, скрытого от глаз обломками скалы. Не знала еще, что крылья могут растаять и отпасть, а воспаривший и вырвавшийся вроде бы на волю – внезапно низвергнуться с высоты и стать добычей жадных волн.

Оказавшись среди камней, мы возбужденно рассмеялись, и я посмотрела ему в глаза при свете луны, уже не краснея от собственной дерзости.

– Вернуться надо, пока мое отсутствие не заметили, – сказал он, глядя на меня сверху, а несказанное я и так поняла.

Мы выиграли немного мимолетного времени, и творить свою судьбу мне нужно в эти драгоценные мгновения.

– Ты хочешь вернуться? Знаешь ведь, что ожидает тебя завтра вечером.

Он только плечами пожал – так красиво, текуче. И жажда вспыхнула в моей крови – могучее первобытное желание оказаться в объятиях этих сильных рук. Подальше от жуткого сладострастия Кинира.

– Бежать не собираюсь, – сказал он просто, и я поняла, что Дедал не ошибся, конечно. Герой не прячется от судьбы, не ускользает тайком из темницы, не избегает боя. Иначе имя его не будет звучать в веках.

– Ты знаешь Лабиринт, госпожа, – продолжил Тесей. – Знаешь чудовище, что там бродит. Если сможешь намекнуть, подсказать, где у того или другого слабые места, навечно буду у тебя в долгу.

Навечно. Тесей будет моим навечно. Именно об этом он говорил, я не сомневалась. Но по-прежнему изображала скромность, притворяясь, что не приняла окончательного решения еще несколько часов назад, увидев его там, на пиру, вроде бы бессильного, но блещущего отвагой, какая Миносу, надежно защищенному облачением тирана, и не снилась.

– Чудовище это – мой брат, – ответила я с легким укором. – Нет слабых мест ни у Минотавра, ни у Лабиринта. Любому вошедшему – верная смерть.

Тесей чуть слышно хохотнул. Он смотрел на меня с ласковой веселостью, а в глазах поигрывали диковинные серебристые блики, будто лунная рябь на темной морской воде. Я вспомнила, что Тесей, как говорили, не знал в точности, кто его отец – то ли Эгей, могущественный царь Афин, то ли Посейдон, серебряный царь морской. Так или иначе, а легендой ему надлежало стать по праву рождения. И если отец его Посейдон, подумала я, может, он и послал сына, чтобы исправить зло, которое причинил нам, сотворив Астерия. Я представила Посейдона в божественном гневе, приготовившегося насладиться безумием на мою ни в чем не повинную мать, и представила Тесея, приготовившегося тоже – сразить уродливое отцовское творение. А может, я и сама орудие богов и, добывая Тесею славу, помогаю исполниться намерению Посейдона, искупая тем самым вероломство и алчность собственного отца.

– Я не боюсь, – уверил Тесей. – Но, кажется, за меня боишься ты, Ариадна.

Мое имя слетело с его уст. Подарив утонченное, невыносимое почти наслаждение. Царевич не ошибся: теперь меня страшило лишь одно – что потеряю его, не успев найти. Я разжала пальцы, сжимавшие клубок красной веревки, и глаза Тесея расширились.

Он улыбнулся с затаенным удовлетворением во взгляде и посмотрел на меня пристально.

– Объясню-ка тебе, царевна, почему я явился на Крит в оковах и как собираюсь справиться со здешним бедствием.

Так я и услышала историю Тесея.

Имя его отзовется в веках – вместе с именем Геракла, раньше проложившего этот путь, и Ахилла, который явится позже, – эти могучие герои мифов боролись со львами, стирали города с лица земли, и все вокруг них горело синим пламенем, но той ночью рядом со мной стоял человек из плоти и крови. Подвиги свои Тесей описывал, будто сущий пустяк, будто зарубить злодея или деспота какого-нибудь не сложнее, чем корку срезать с сыра или косточку выдавить из оливки. Слова отскакивали друг от друга, как игральные кости, он кидал их, не взвешивая, не обдумывая. Ничего не приукрашивал, не дорисовывал, дабы меня поразить. Для этого и правды было вполне достаточно.

Он рос в Трезене с матерью Эфрой и знать не знал, кто его могущественный отец, пока не отвалил однажды громадный камень, под которым лежали Эгеев меч и сандалии. Афинский царь спрятал их там, а Эфре, ожидавшей ребенка, так сказал: когда рожденный тобой сын сдвинет эту глыбу, приму его в Афинах как настоящего царевича.

Но в самом ли деле из-за Эгея раздулся ее живот – в ответ на этот вопрос многие вскидывали бровь. Говорили, что после того, как Эфра ложилась с Эгеем, ей явилась во сне великая Афина, олимпийская богиня, и отправила одурманенную сном девушку на берег моря, где та окропила воду вином и ступила в прибрежные волны, в которых уже купался гладким дельфином ожидавший ее Посейдон. Не знаю, зачем Афина устроила своему дяде, сотрясателю земли и тирану вод, это любовное приключение. Она ведь богиня мудрости и одна ведает, как работает ее стремительная мысль. Может, она искала примирения с Посейдоном, после того как победила его в отчаянном соперничестве за покровительство над Афинами: изобильное оливковое дерево богини афиняне предпочли дару Посейдона – соленому источнику. Богиня опасалась, наверное, что обиженный поражением Посейдон от злости замыслит месть ее любимым Афинам, поэтому, может, и обставила рождение Тесея именно так, чтобы связать отца с историей предполагаемого сына, который в свою очередь будет так замысловат и неразрывно связан с городом. Ход хитроумный, ведь благосклонность олимпийцев – ценнейший дар для всякого смертного – пока она сохраняется, конечно.

Держался Тесей как истинный царь, и я, не замечая в нем непредсказуемости вечно текущего моря, яростно избивающего скалы и глотающего целые корабли, больше склонялась к тому, что он – кровь от крови земных властителей, а не божеств. Но присматриваясь – а я, уж

поверьте, впивала его, как высохший от жажды зверь речную воду, – замечала в нем и холодную невозмутимость стальных зеленых глубин. Не дельфина он напоминал, что выпрыгивает из вздымающихся волн, поблескивая на солнце, скорее акулу, бесшумно скользящую в сумрачной тишине. Могучий, неумолимый, сосредоточенный. И сейчас он был неуклонно сосредоточен на мне. Внимание такого мужчины опьяняло, конечно, и его спокойная уверенность расходилась по моим жилам зелеными волнами, холодными и тяжкими, замедляя участившееся сердцебиение.

Даже стражники Миноса, накинься они сейчас со всех сторон, кажется, не устояли бы против этой сдержанной, но неумолимой силы. Постепенно я перестала прислушиваться к малейшему отдаленному шуму, готовая бежать, падать на колени, молить о пощаде в любую минуту. Оперлась на каменную стену за спиной и погрузилась в его историю.

Глава 7

– Ты рожден от великого отца, всегда говорила мать, но кто он – скрывала. А я, мальчишка, воображал его героем, совершающим где-то там изнурительные, многотрудные подвиги, и надеялся, что он находит утешение в мыслях о подрастающем сыне, который пойдет по его стопам – завоевывать мир. Я хотел сражаться с чудовищами, спасти царевен и карать злодеев, ведь именно этим, казалось мне, и занят отец.

Когда мне было пятнадцать, у нас однажды гостил Геракл. Отца своего я представлял именно таким и с жадностью слушал Геракловы рассказы. Моих ожиданий он не обманул. Во-первых, и впрямь был силач и великан, как говорили, выше всех во дворце, а на плечах носил львиную шкуру, такую страшную, что служанки наши при встрече с ним лишались чувств. Шкура и в самом деле походила на настоящего льва – я даже бросился на нее, впервые увидев распростертой на ложе, хотел укротить лютого зверя, неведомо как проникшего внутрь, чтобы разорить наш дом.

Геракл от души смеялся над моей глупостью, но за смелую попытку побороть могучего льва голыми руками – хвалил, так что мы, можно сказать, подружились. Конечно, мы не общались на равных – я слишком восхищался Гераклом, однако жаждал перенять у него что смогу, прежде чем он снова пустится в странствия.

Геракл рассказал мне о своих подвигах – как зашиб дубиной Немейского льва, избавив жителей города от этого бедствия, и сделал из шкуры зверя себе накидку, как поборол многоголовую Гидру, и про Стимфалийских птиц-людоедок, и про плотоядных кобылиц Диомеда, пожиравших людей живьем, и про Авгиевы конюшни, вычищенные с таким трудом, – эти и прочие истории, которым внимают с восхищением, передавая из уст в уста, и будут внимать, не сомневаюсь, еще много поколений, восхищали и меня. Но находили в моей душе и иной отклик: слушая, как Геракл прижег головы чудовищного змея, как поймал Критского быка на здешних скалистых берегах – слишком поздно, увы, ведь его жуткий потомок прижился уже в утробе твоей матери, – я представлял, как сам беру дубину, пылающий факел и лук со стрелами и уничтожаю этих чудовищ или хватаю быка за шею и сам выдавливаю из него жизнь. Слова Геракла не просто живописали его деяния, они указывали мне путь.

А однажды, изрядно захмелев от нашего лучшего вина, он рассказал мне со слезами на глазах, как в припадке безумия, насланного завистливой Герой, убил собственную жену и ребенка. Я понял, что жизнь героя не обходится без жертв и боли, но жаждал этой жизни все равно.

Голос Тесея, вспоминавшего о мучениях друга, упал, охрип, надломился, глаза заблестели, а прежде чем продолжить свой рассказ, он почтительно помолчал – словом, тронул мое сердце.

– Днем Геракл учил меня хитростям рукопашного боя, приемам, которые сегодня на твоих глазах я показал тому головорезу на арене. Учил обращаться с оружием, даже дубину дал подержать, разmozжившую голову Немейскому льву. Много давал прикладных советов, но еще объяснял, как нужно мыслить. Он рассказал, что однажды, в самом начале его трудов, когда он пас отцовские стада на горе Киферон, к нему пришли две девы. Одна, суровая красавица в длинных синих одеждах, предложила ему идти по жизни тропой Добродетели. Это как тяжелый подъем по скалистым кручам, сказала она, зато дошедший до вершины обретет вечную славу. Другая дева, лениво устроившись рядом, сладострастно мурлыкала о жизни, ожидающей Геракла, если тот предпочтет Удовольствие и станет до конца дней своих предаваться всевозможным земным наслаждениям. Это легкий и ровный путь, уверяла она, он расстилается перед тобой, свободный от трудов и страданий.

Тесей помолчал, взглядываясь в даль за моей спиной, и я поняла, что он представляет самого себя на склоне той горы, стоящего перед выбором. Готовность к жертве и жажда славы, смешиваясь, очевидно, воспаляли в нем желание преодолеть каменистый путь к вершине Добродетели.

– Геракл, конечно, выбрал путь девы в синем и в свое время отправился на подвиги, а как тяжелы и опасны будут они, никто не мог представить. И завоевал невообразимую славу ужасной ценой – но за такую не жаль и тысячу раз поплатиться.

И вот настал день, когда я, сдвинув огромный камень, обнаружил под ним меч и сандалии – подтверждение, что отец мой – Эгей. Об этом благородном и мудром правителе я слышал не раз и теперь обрадовался, ведь у моего отца – человека, способного возглавить город, которому суждена бессмертная слава, и к этой славе его повести, – величие и впрямь было в крови. Теперь мне предстояло доказать, что я достойный потомок афинского царя, – отправиться в путь и заявить свои сыновьи права. Я мог плыть морем – дорогой легкой и безопасной – или идти сушей и повстречаться с разбойниками, злодеями да дикими зверями. И, подобно Гераклу, знал, какую дорогу предпочесть.

Тесей рассказал о полном опасностей переходе через Коринфский перешеек. Об одноглазом Перифете, безобразном великане, который, хоть и орудовал большой железной палицей, с Тесеем, вооруженным лишь кулаками, тягаться на смог. О подлome Скироне, который заставлял прохожих мыть ему ноги и пинком сталкивал их с обрыва на острые камни или в воду, где ждала, притаившись, огромная морская черепаха – привыкшая уже лакомиться этими несчастными, она и хозяйина сожрала, когда Тесей его самого сбросил в море. О мерзком Синисе, который любил привязать свою жертву – случайного путника – к вершинам двух сосен, пригнув их к земле, потом отпускал деревья, и беднягу разрывало надвое, а лоскутья плоти продолжали висеть на деревьях жуткими украшениями.

Услышав про последнего, я ахнула от ужаса, а Тесей ухмыльнулся с мрачным удовлетворением и продолжал.

– Как он завопил, взметнувшись в небо вместе с верхушками сосен, но вопль оборвался, плоть чавкнула, и злодея разорвало точно пополам! Кровавая гибель, на которую он обрек столь многих, постигла его самого. Так я и шел дальше к Афинам. Расчищая дорогу от чудищ и душегубов, обложивших ее со всех сторон.

– Все путешествующие там, наверное, так тебя благодарили, – сказала я. – Столько жизней могло быть отнято, а ты их сохранил.

Я знала, что герой должен быть отважным, справедливым, благородным и честным. Но не думала, что увижу такого своими глазами, даже если всю землю обыщу. Тесей глядел на меня пристально, и я не отводила глаз, слушая дальше.

– Я пришел домой, в мои Афины, где никогда еще не был, и поверил, что все трудности позади, ведь я, несомненно, показал и достоинства свои, и храбрость. Но не знал, что Афины пригрели ядовитую змею, отравившую нашу землю скверной своих прошлых преступлений. Тварь гораздо более опасную и вероломную, чем дикари, встававшие на моем пути и охотившиеся на одиноких путников. Она не таилась, подстерегая кого-то на бесплодных обрывистых скалах или в пустынных местах, а красовалась перед целым городом. Потому что была женой моего отца, царицей Афин – колдунья Медея. И самые суровые испытания мне только предстояли.

Тесей заговорил о Мее, и тон его изменился – спокойное, ровное достоинство, разливавшееся в голосе, когда он рассказывал о своих выдающихся подвигах, приправила вязкая, горькая желчь презрения, сочившегося сквозь каждый слог.

– Я слишком долго шел, стараясь стереть с лица земли всю эту грязь – разбойников, душегубов, чудовищ, которые кишмя кишели на каждом повороте, как муравьи в муравейнике. Меня все не было, и отец начал терять надежду, что обретет когда-нибудь наследника,

которому сможет передать трон. Вера в сына, вроде бы оставленного в Трезене, в утробе моей матери столько лет назад, померкла, и Эгея снедало мрачное отчаяние. Отец тревожился, ведь умри он без наследника, и афинский трон, чего доброго, захватят сыновья Палланта, его злейшего соперника. Пребывавший в таком унынии, Эгей не смог противостоять злему колдовству Медеи.

Тесей заметил, как я изменилась в лице, услышав это имя.

– Ты знаешь о ней?

Я вздрогнула.

– Ее отец мне дядя, хоть ни его, ни дочь его я никогда не видела. Он брат моей матери, сын Гелиоса, но живет далеко, в Колхиде – земле колдовства и чародейства.

Опустив голову, я рассматривала свои руки, переплетенные пальцы. И этот позор лег на нас, и это пятно замарало наше имя. Все ведь знали, что Медея сбежала с героем Ясоном. Все слышали, как она украла у своего отца золотое руно, которым тот очень дорожил, и вручила возлюбленному, а много позже, когда Ясон отверг ее ради другой царевны, достойной женщины, Медея заживо сожгла несчастную соперницу с помощью отравленной накидки и зарезала родных сыновей, рожденных от Ясона, будто поросят, после чего ускользнула в Афины в колеснице самого Гелиоса.

Тесей кивнул.

– Я не знал еще, когда прибыл в город, как велики злодеяния Медеи, не то убил бы ее прямо во дворце Эгея, где она восседала, будто хозяйка. Явившись к воротам в надежде на гостеприимство, я не назвался – хотел дожидаться удобного случая, а тогда уж с гордостью заявить о себе и увидеть объятого радостью отца.

– Медея приняла меня. – Тесей вязко сглотнул. – Я смотрел, как она приближается, надменная, плавная. Дивился на узорчатую мозаику, затейливо украшенные фризы, пышную позолоту, нефритовые колонны, мрамор с алеющими прожилками, ониксовые плиты под ногами – но вся эта роскошь, все ослепительные богатства меркли на пути Медеи, будто дымом застланные. Она передвигалась, слегка покачиваясь, со змеиным изяществом. И была красива, отрицать не стану, но миазмы ужаса ползли за ней повсюду, роились вокруг, как мухи, гудящие над трупом. Драгоценная кровь ее родных, милых сыновей, убитых теми самыми бледными, словно кости, руками, что протягивались теперь ко мне с притворным радушием, пятнала сам воздух, которым дышала Медея.

На запястьях ее позвякивали бронзовые браслеты, и та же бронза смягчала взгляд Медеи, скрывала ярко-красную злобу в глубине ее глаз – потом я увижу, как она вспыхивает. Та же бронза оттеняет и твои глаза, Ариадна, прекрасная внучка солнца. Как две столь разные ветви могли произрасти на одном древе – для меня загадка. Твоя прелестная чистота противится всему, что есть в Медее.

Внутри что-то вдруг сжалось, когда он описывал красавицу Медею, но теперь меня слегка отпустило. Тесей говорил о ней, и каждый звук дышал презрением, и все же я невольно задавалась вопросом, не бурлит ли под ним восхищение, пусть небольшое, подобно ручейку, впадающему в могучую реку. Да, злодеяния Медеи вызывали у него отвращение, но ведь о ее пленительных чарах тоже ходили легенды.

– Тем вечером я познакомился с отцом. Он оказался человеком сердечным и приветливым, с виду был сухощав и бодр, а по его спокойной настороженности я, будучи воином тоже, понял: он готов ко всему. Я не знал, что отчасти причиной замеченной мной настороженности была ложь, которую состряпала и наплела ему кровожадная колдунья. Будто я злодей, захватчик, подлый убийца, который проник во дворец и хочет захватить его, жестоко расправившись с обитателями. Подольстившись, Медея выпросила у отца позволения подать мне чашу с отравленным вином – и тогда я, подняв тост за царя и осушив кубок, умру, не успев осуществить своих дурных замыслов.

Медея устроила прием во дворце, смеялась, развлекала нас оживленной беседой. Щеки ее алели от удовольствия, глаза поблескивали. На руках Медея качала сына, которого родила Эгею, как обещала, отчего отец мой только глубже увяз в ее чарах. Младенец был хилый и худенький. Может, знал о судьбе своих безвинных братьев и боялся питаться материнским молоком – вдруг оно обернется ядом, а то и живыми скорпионами и сожжет его изнутри. Наконец она обратила ко мне свой странный бронзовый взгляд и улыбнулась. И меня вдруг потянуло к ней неодолимо, как безрассудного мотылька, летящего навстречу гибели. Я потянулся к кубку, но Медея ловко его подхватила. “Добрый Тесей, – прозвенела она лукаво, – твой кубок пуст! Дай наполню его немедля!” Наливая вино, она посверкивала на меня глазами исподлобья и улыбалась, как голодная волчица.

Я натянулась, как струна. Да, Тесей стоял передо мной, а значит, та давняя опасность ему уже не угрожала, но как же близко она была – страшно подумать! Повеяло ночным холодком, и я растерла руки, покрывшиеся гусиной кожей от колючего озноба.

– Кое-как встав на ноги, я хотел поднять тост, но ощутил внезапно, что сил больше нет, рассудок мой не выдерживает натиска, я не могу говорить и мыслить ясно, как привык. Меня бросило в жар, я еле двигался, еле соображал и подумал, какое же крепкое здесь вино и сколько уже выпито. Меч, пристегнутый у бедра, сделался вдруг неописуемо тяжелым, и я ослабил толстый ремень, державший ножны.

В этот миг – Медея как раз влила последние сверкающие капли в кованую чашу из бронзы и подняла ко мне лицо, сияющее от предвкушения, – мой меч качнулся вперед, обнажив золоченую рукоять, и не успел я потянуться к кубку, как отцовский громогласный окрик в ключья разнес клубившийся в моей голове туман, резко вернув меня к действительности, прозрачной и острой, как стекло.

Эгей не дал мне взять чашу со стола – выбил из рук. Налитая Медеей жидкость злобно зашипела, вскипая и брызгаясь, и стала разъедать тяжелую столешницу из темного дерева. Я смотрел на нее, еще не вполне понимая, что произошло, и тут отцовский рев, словно клич боевой, отозвался в ушах: “Сын!”

Я смотрел на отца, а Эгей не сводил глаз с меча, висевшего у меня на бедре. Меча, который он оставил под камнем в Трезене и которым мог владеть только его сын.

Медея отшатнулась от нас обоих. Ярость исказила ее лицо. “Самозванец!” – прокричала она диким голосом. А потом схватила мужа за руку, умоляя взглянуть на нее, но отец теперь видел только меня. “Эгей, он не сын тебе!” Отчаянные слова сыпались с ее лживого языка уж очень поспешно. “Я заглянула в его душу, прямо в темную, мерзкую сердцевину. Поверь, от этого человека нам только вред – услышь меня, Эгей! Я увидела твою смерть, едва он переступил наш порог! Увидела, как ты, прыгнув со скалы, задыхаешься в ледяной глубине океана, и все из-за него!” Голос Медеи взвился до испуганного визга. Она поняла уже, что осталась ни с чем.

– Значит, Эгей и вправду признал тебя, – сказала я.

Тесей предстал перед отцом – отважный герой, достойный сын, о каком Эгей всегда мечтал, и чары Медеи, конечно, рассыпались в прах.

Царевич сурово кивнул.

– Медея родила ему сына, но не Тесея. В правители Афин он не годился. Отец это ясно осознал, я видел – мы поняли друг друга мгновенно и без слов. Он прогнал Медею. Она бросилась бежать, всхлипывая и путаясь в подоле. Не впала в чудовищный гнев. Не попыталась нас заколдовать. Не стала искать в душе своей свирепости, с какой уничтожила сыновей Ясона – плоды собственного чрева. А просто сбежала – испугалась, похоже. Оставив после себя удивительную тишину и будто бы даже всколыхнув мимолетную зыбь жалости. Могушественная колдунья была повержена, оказавшись на самом деле маленькой и слабой.

– И куда она отправилась? – спросила я. Где, интересно, согласились принять ту, которая успела уже предать отца, лишить мужа сыновей и хитростью почти заставила царя согласиться на убийство собственного законного наследника?

Тесей беспечно пожал плечами.

– Как знать? Главное, что Афины очистились, избавились от ее пугающего присутствия, а я сразу начал обучаться у Эгея искусству управления. Я готовился стать достойным государем, подобно отцу, – поддерживать законы, блюсти справедливость и царивший в городе мир.

Я вдруг поняла, как близко склонилась к нему. Тесей все больше увлекал меня рассказом, восхищал простотой повествования. Столкнувшись со злом, царевич разил его, а не обдумывал, как бы обратить себе на пользу. Столкнувшись с мраком и ужасом, одолевал их и впускал жгучий свет в мир, а не утягивал его дальше во тьму. Он служил бы своему городу как справедливый правитель. Не сидел бы на троне, холодный и неумолимый, господствуя над жаркой, клокочущей ненавистью и страхом, державшим граждан Крита в узде, и радуясь тому. Рядом с ним я впервые в жизни ни в чем не сомневалась, ничего не боялась. Тесей, как якорь, закрепил меня на твердой земле, залитой чистым светом.

В этот самый миг темная фигура перемахнула через окружавшие нас камни и приземлилась перед нами с грохотом, неумело сжимая в руках тяжелую железную палицу.

Глава 8

Пока надсадно колотилось сердце, я поняла, что все еще способна изведать настоящий страх. На один мучительный миг я застыла, приросла к земле, а потом, отлепив язык от неба, выдавила, не веря своим глазам:

– Федра?

Она ответила: “Ариадна!” – стараясь говорить уверенно, однако нотки легкого безумия, болезненного веселья выдавали ее возбуждение.

– Как ты... Где?.. Ты видела?.. Кто-нибудь?..

Я силилась задать десяток вопросов, смешавшихся в гортани, но не вышло ни одного.

Пока я с трудом подыскивала слова, Тесей забрал у Федры палицу – мягко и неторопливо. Насторожившись, изготовившись, он обводил взглядом темную даль и прислушивался, хоть до меня доносился только грохот прибоя, разбивавшегося о скалы внизу, да учащенное дыхание Федры.

– Никто не придет, – высокомерно заявила она ему. – Дворец спит. Все напились и храпят теперь, как свиньи. Даже стражники, как один, спят, уж поверьте. Проснутся только с рассветом, у нас еще несколько часов.

У нас еще несколько часов. У нас?

Крадучись, царевич обогнул скрывавшие нас камни и, почти сливаясь с тенью, гладкий, как тигр, стал осматриваться вокруг. А пока он ходил дозором, я, схватив Федру за руку, прошипела:

– Что, Зевса ради, ты тут делаешь? С ума сошла?

– Не больше твоего! – ответила она раздраженно, отчего колкость эта прозвучала лишь острее.

– Откуда ты узнала, где мы? – допытывалась я.

– Я пошла за тобой, – заявила сестра строптиво, хоть и не без гордости, ведь ей удалось так меня удивить! – Пошла за вами с Дедалом, а потом за тобой в тюрьму. Я поняла, чего ты хочешь, поняла, что ты, едва взглянув на Тесея, решила помочь ему бежать. Но не волнуйся, – добавила Федра, – тебя видела только я, а меня не видел никто. Ты вот не догадалась даже.

– Пошла, значит, за мной? Тогда где ты была столько времени?

Она вскинула брови.

– Слушала.

Я и рассердилась, и испугалась, и немало смутилась – как легко младшая сестра обхитрила меня! А она стояла под луной, выпрямив спину, маленькая и хрупкая, но такая яростная. Я вздохнула. Все бы отдала, лишь бы Федра в этом не участвовала. Если она попадет в беду, то по моей вине.

– А где палицу взяла?

Хватило ей безрассудства забраться в оружейную? Пожалуй, я уже ничему не удивилась бы.

– Это моя, – вмешался Тесей.

Я подскочила. И не заметила, что он вернулся, так неуловимы были его движения.

– Никого, она правду сказала. Дворец и в самом деле спит? – спросил он уже у Федры.

Стоило Тесею к ней обратиться, как свирепость сошла с лица сестры, и голосом нежным, как сливки, она уверила:

– О да, спит мертвым сном после вечерней пирушки. А палицу твою я забрала в кладовой, куда поместили дары из Афин.

Нутро мое сжалось. А если обнаружат, что она пропала? Но Тесей, кажется, не беспокоился, а палица казалась естественным продолжением его руки, и я опять почувствовала себя защищенной.

– Эта палица и сделала меня афинским царевичем, – сказал он, и голос его напомнил мне прохладный поток, омывающий камни, стремительный, обладающий независимой силой. – Без нее меня бы тут и не было. Спасибо, что возвратила ее мне, – добавил он, обращаясь к Федре, и я даже в сумраке увидела, каким густым румянцем она залилась.

– А дальше расскажешь? – спросила она почти застенчиво.

Сестру разрывали противоречивые чувства, я видела, – она и торжествовала, гордясь собственным бесстрашием, и робела против обыкновения, предлагая Тесею продолжить рассказ, который подслушала, не известив нас о своем присутствии.

Он улыбнулся.

– Конечно. В Афинах я зажил счастливо – подвиги мои остались позади, а впереди ждало блестящее будущее. Но только я взялся за дела царевича – начал заниматься скотом, споры разрешать, да и просто наблюдать за Эгеем, стремясь стать таким же великим царем, – как до нас докатился рокот близкой войны. Паллантиды собирались идти на Афины – они и так досадовали, что Эгей занимает трон, а теперь у него еще и сильный наследник появился. Эти пятьдесят сыновей Палланта, которому мало было своей части Аттики, надеялись заполучить Афины после смерти Эгея. А теперь, раз их надежды растаяли, решили взять город силой.

Паллантиды и убили вашего брата. Всегда эти завистники злились на чужой успех и пришли в ярость, когда Андрогей победил на играх. Заманили его в горы, где разгуливал буйный бык, и там ваш брат встретил одинокую смерть. Так знайте, я перебил Паллантидов одного за другим, всю полусотню. На глазах у отца их Палланта, а потом сразил и его самого. Смерть вашего брата отомщена – моими руками.

Я холодела, слушая о Медее. А теперь во мне пылала гордость, странным образом смешанная со стыдом. Гордость – оттого что герой, который стоял передо мной и так буднично повествовал о своих удивительных подвигах, уничтожил убийц брата. Стыд – оттого что по воле моего отца героя этого доставили сюда в цепях расплачиваться за смерть, уже им возмещенную.

– Словом, я избавил Афины от новой угрозы, дал людям надежду и веру, что на смену Эгею придет такой же честный правитель. И все-таки город, как туманом, объят был страшным унынием. Куда ни глянь – на лицах тоска и безысходность. Куда ни поверни – слышен женский плач. Я спросил отца: “Что так тревожит наших граждан? Что заставляет плакать, стенать и скрежетать зубами? Город процветает, живет по справедливым законам и под нашей защитой. С чего им предаваться отчаянию?”

Глубокие морщины, изглаженные в последнее время беспечной радостью, врезались теперь в постаревшее лицо отца сильнее прежнего. Заговорил он, не глядя мне в глаза. “Тесей... Окажись ты здесь, может, мы бы и справились. Без малого три года назад Минос, царь Крита, послал на Афины свой могучий флот, и устоять мы не могли. Критские корабли растянулись по всему горизонту, паруса победоносно раздувались, воины держали наготове ясеневые копья и крепкие щиты, стрелы сыпались градом, блистали на солнце устрашающие мечи. Грозное оружие он нацелил на нас, слишком грозное. Мы сражались. Сражались храбро и могли бы Миноса прогнать, ведь отвага афинян могущественней всех критских богатств. Но Зевс помог своему сыну Миносу и по его просьбе наслал мор на Афины”.

Воспоминание об этом заставило Эгея ненадолго умолкнуть. А потом он заговорил так тихо – лишь напрягая слух, я слышал его ужасные слова.

“Сильнейшие наши воины умирали как мухи. Мы не успевали сжигать их, и серые тела громоздились на берегу, издавая зловоние, будто рыба, гниющая на солнце, которой наловили слишком много – не съесть. Болезнь разила афинян за считанные часы, и так было повсюду.

Сотни мертвых превосходили числом живых, мы не успевали совершать погребальные обряды – так быстро умирали люди, и стон неупокоенных душ смешивался с воем убитых горем живых”. Эгей рассказал, запинаясь, что город не выстоял – пришлось уступить, иначе погибли бы все афиняне.

Тесей описывал жуткие бедствия, которые моя семья причинила его народу, а я в эту минуту всей душой ненавидела Миноса, отвращение билось и ворочалось внутри, словно чудовищный зародыш, кошмарное дитя – гораздо страшней рожденного моей матерью. Минотавр за год пожирал несколько человек, а мой гнев, казалось, способен разом обращать в пепел целые города.

Но сколько Миноса ни ненавидь, я все же его дочь, и Тесей воспринимал меня именно так. Полагая, что я предана и Криту, и Миносу, а значит, только рада страданиям Афин. Заплачу – он сочтет меня лгуньей. И я, стиснув зубы, слушала дальше.

– Отцу больно было даже говорить об этом, но он объяснил и почему сдался, и на каких ужасных условиях твой отец согласился заключить мир.

Тесей покачал головой.

– Я знал уже, сколь гнусны бывают обыкновенные воры и разбойники. Но даже не представлял, на какую жестокость способен царь, когда богатства его неисчислимы, власть неограниченна, а значит, он может дать волю воображению и учинить из мести самые безумные и отвратительные издевательства. Описанное Эгеем зло превосходило всякое, встречавшееся мне до сих пор.

Четырнадцать юношей и девушек, совсем еще детей, только начавших жить, отнимали у родителей. Везли сюда, выставляли перед Миносом, дабы утолить его жажду власти, а потом, вопящих, скармливали живьем моему брату.

Он сразу понял, что делать, я это видела. Кого-то удержали бы страх и сомнения, но не этого человека, до сих пор без колебаний искоренявшего на своем пути всякий ужас, всякую несправедливость.

– Настал день, когда бросали жребий. В зале, где мы собрались, висела зловещая тишина; она давила на меня тяжким гнетом, как давит небо на могучие плечи Атланта. Однажды и Гераклу довелось выдержать этот груз. А я понимал, что таков долг царя – подпирать небо, дабы оно не раздавило подданных, даже если прогнулась спина, даже если мускулы вопят о пощаде.

Но Минос никогда не говорил такого – о страшной привилегии правителя и ее цене. Ни разу я не слышала, что царь обязан жизнь отдать за свое царство, пока Тесей не заявил это как очевидную, неоспоримую истину.

– И вот, когда был вытянут тринадцатый жребий и вязкое напряжение стало чуть-чуть ослабевать – один остался, а после этот зал и смрадный стыд можно забыть еще на год, – я вышел вперед. Не мог позволить еще одному сыну или дочери Афин испытать этот кошмар. Должен был занять его место.

Федра была восхищена, ошеломлена решительной, безоговорочной отвагой Тесея. Тесей, без сомнения, пожертвовал бы жизнью ради собственного царства, я видела ровный путь, расстилавшийся перед ним, – без развилок, колебаний, растерянности, без усталости и внутреннего сопротивления. Он шагал вперед, ни минуты не сомневаясь, какой дорогой надлежит идти мужчине, не опасаясь изгибов, поворотов или преград. Он прорубил бы колючие заросли, в которых я запуталась – сплетавшуюся с отвращением жалость к маленькому чудовищу, мрачные тени страха и преданности, связывавшие меня с Миносом, непроходимые дебри любви и злости, не позволявшие оторваться от Пасифаи, – отсек бы все это одним взмахом меча. Мне так хотелось усвоить эти простые истины, эту веру, с которой легко идти вперед.

Он и шел напролом, уверенный в своей правоте, однако я готова была биться об заклад, что с этим соглашались не все. И спросила:

– А твой отец? Не мог же он тебе такое позволить?

Тесей глянул на меня мельком, едва ли не с презрением.

– Позволить мне? – Он пожал плечами. – А как бы он мне воспрепятствовал? Он, да и кто угодно? Конечно, отец отговаривал, убеждал, что полезней остаться в Афинах, помочь ему построить флот, чтобы потом уже воевать с Критом. Но на это ушли бы годы, и сколько еще десятков афинских детей отправились бы на погибель, к Миносу в Лабиринт? Нет, я больше никем жертвовать не хотел.

Он обратил ко мне взгляд, исполненный ледяного блеска. Уклоняться от этого зябкого света я не хотела. Пусть он выстудит обжигающий стыд за мою родину, братьев, отца, принесших столько боли и страданий его родине, его отцу. Пусть изгладит горячий озноб, взползающий по спине от малодушного страха при мысли об афинском флоте, который идет громить нас, а на носу ведущего корабля стоит гордый Тесей, высматривая добычу. Как бы я тогда поступила – кинулась на берег, пала ниц, взмолилась: сожги мой дом, славный капитан, разори мою землю, но забери меня с собой? В жар бросало от одной мысли об уже случившемся, возможном и предстоящем, и так хотелось окунуться в его уверенность, словно в чистую прохладную воду.

– Но... Эгей ведь прав! – Голос Федры, серьезный, настойчивый, прорвался сквозь нечто, владевшее мной и Тесеем в этот миг. – Тебе нужно армию собрать! Куда лучше дожидаться, пока сможешь победить и всех спасти, чем умирать сейчас вместо одного-единственного!

Она не поняла. Не уяснила, зачем он здесь, сочла его поступок благородным, но бесполезным. Я чуть не рассмеялась. Выслушав рассказ Тесея, Федра все еще верила, что он пойдет в Лабиринт и не вернется.

– Федра! – С ней Тесей заговорил тепло и шутливо. Сестра моя, как видно, ледяного взгляда не заслуживала. – Твое бесстрашие поражает меня. Ты уже совершила подвиги, каких от девушки, да еще такой юной, нельзя ожидать. – Он кивком указал на возвращенную Федрой палицу. – Но мне, маленькая царевна, предстоит кое-что очень опасное, даже для тебя. Благодарю за сделанное сегодня ночью. Не передать, в каком я долгу перед тобой, и слово даю, что отплатю тысячу раз. Но сейчас, милая Федра, окажи мне еще одну любезность – возвращайся в свою постель и никому не говори ни слова.

Я видела, что от ласковых слов Тесея Федра затрепетала, и все же он неверно повел себя с моей пылкой младшей сестрой.

– В постель? – фыркнула она недоверчиво. – Я пошла за вами, чтобы помочь тебе бежать! Мы с Ариадной проведем тебя обратно к кораблю, ты отправишься обратно в Афины и вернешься с армией! Вы ведь так и задумали? Затем Ариадна тебя сюда привела?

– Ты, царевна, не знаешь, видно, что делают армии, – возразил Тесей. – Знала бы – не захотела увидеть эту самую армию у своих берегов. Воевать с Критом я не собираюсь. Я здесь, чтобы вместе со своими братьями и сестрами отправиться в логово Минотавра – так велит долг наследнику афинского трона.

– И кто сядет на трон, обломки твоих костей, разбросанные по Лабиринту? – спросила она. Я вздрогнула, представив эту картину, но Федра не боялась ничего. – Какой прок от тебя и твоих спутников, если вас сожрет это чудовище?

Астерий, хотела я поправить. Но сестра назвала его верно – не был он сияющей звездой. А был чудовищем, зверем, и Федра правильно делала, не позволяя затуманить свой взор воспоминаниям – о матери, качавшей его, спящего, на руках, о шершавом прикосновении его детского язычка. Ничто не мешало Федре решительно идти вперед, не барахтаясь в грязном болоте сомнений, сдерживавших меня. Я будто и сама оказалась в Лабиринте – столько путей впереди, и все темны и неясны. Но Федра с Тесеем дорогу видели, хоть двигаться стремились в разных направлениях.

Он по-прежнему улыбался. Кажется, вовсе не обижаясь на дерзость Федры.

– Уверяю, царевна, до такого не дойдет. Но большего не скажу, чтобы не подвергать тебя опасности. Не нужно тебе быть к этому причастной.

– А как же Ариадна? – вскрикнула Федра. – Она не умеет лгать отцу. Это я сохраню тайну, даже если дикие кони станут рвать меня на части, как эти твои сосны. А Ариадну спросят только – сразу сломается! Почему ты ее не отошлешь?

– Ариадну не спросят – ее не будет здесь, – ответил Тесей.

Федра замерла.

– Это почему?

Тесей глянул на меня. Я отчетливо услышала слова Дедала и поняла, что царевич думает о том же.

– Ариадна отправится со мной, – сказал он ровно. – Освободив меня этой ночью, она поставила себя под удар. И не может здесь оставаться.

Федра даже ахнула.

– А я, значит, могу? Без Ариадны? Ты ведь... она ведь... – Перепуганная сестра переводила взгляд с меня на Тесея. – Не могу я тут остаться без нее!

Такая нужда звучала в ее голосе – не поспоришь.

Тесей открыл было рот, но осекся, когда я тронула его за предплечье. И тихо сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.